

Глава 1

Мне, вольноопределяющемуся-охотнику одного из кавалерийских полков, работа нашей кавалерии представляется как ряд отдельных, вполне законченных задач, за которыми следует отдых, полный самых фантастических мечтаний о будущем. Если пехотинцы — поденщики войны, выносящие на своих плечах всю ее тяжесть, то кавалеристы — это веселая странствующая артель, с песнями в несколько дней кончающая прежде длительную и трудную работу. Нет ни зависти, ни соревнования. «Вы — наши отцы, — говорит кавалерист пехотинцу, — за вами как за каменной стеной».

Помню, был свежий солнечный день, когда мы подходили к границе Восточной Пруссии. Я участвовал в разъезде, посланном, чтобы найти генерала М., к отряду которого мы должны были присоединиться. Он был на линии боя, но где протянулась эта линия, мы точно не знали. Так же легко, как на своих, мы могли выехать на германцев. Уже совсем близко, словно большие кузнечные молоты, гремели германские пушки, и наши залпами ревели им в ответ. Где-то убедительно быстро на своем ребячьем и странном языке пулемет лепетал непонятное. Неприятельский аэроплан, как ястреб над спрятавшейся в траве перепелкой, постоял над нашим разъездом и стал медленно спускаться к югу. Я увидел в бинокль его черный крест. Этот день навсегда останется священным в моей памяти. Я был дозорным и первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключаящему возможность быстрого отступления, к движущейся колонне, чтобы узнать, не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул «ура», с которым был взят В. Огнезарная птица победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня. На другой день мы вошли в разрушенный город, от которого медленно отходили немцы, преследуемые нашим артиллерийским огнем. Хлюпая в черной липкой грязи, мы подошли к реке, границе между государствами, где стояли орудия. Оказалось, что преследовать врага в конном сгору не имело смысла: он отступал не расстроенным, останавливаясь за каждым прикрытием и каждую минуту готовый повернуть — совсем матерый, привыкший к опасным дракам волк. Надо было только нащупывать его, чтобы давать указания, где он. Для этого было довольно разъездов. По трясущемуся, наспех сделанному понтонному мосту наш взвод перешел реку.

Мы были в Германии. Я часто думал с тех пор о глубокой разнице между завоевательным и оборонительным периодами войны. Конечно, и тот и другой необходимы лишь для того, чтобы сокрушить врага и завоевать право на прочный мир, но ведь на настроение отдельного воина действуют не только общие соображения — каждый пустяк, случайно добытый стакан молока, косой луч солнца, освещающий группу деревьев, и свой собственный удачный выстрел порой радуют больше, чем известие о сражении, выигранном на другом фронте. Эти шоссейные дороги, разбегающиеся в разные стороны, эти расчищенные, как парки, рощи, эти каменные домики с красными черепичными крышами наполнили мою душу сладкой жадной стремленье вперед, и так близки показались мне мечты Ермака, Перовского и других представителей России, завоевывающей и торжествующей. Не это ли и дорога в Берлин, пышный город солдатской культуры, в который надлежит входить не с ученическим посохом в руках, а на коне и с винтовкой за плечами? Мы пошли лавой, и я опять был дозорным. Проезжал мимо брошенных неприятелем окопов, где валялись сломанная винтовка, изодранные патронташи и целые груды патронов. Кое-где виднелись красные пятна, но они не вызывали того чувства неловкости, которое нас охватывает при виде крови в мирное время.

Передо мной на невысоком холме была ферма. Там мог скрываться неприятель, и я, сняв с плеча винтовку, осторожно приблизился к ней.

Старик, давно перешедший возраст ландшафтиста, робко смотрел на меня из окна. Я спросил его, где солдаты. Быстро, словно повторяя заученный урок, он ответил, что они прошли полчаса тому назад, и указал направление. Был он красноглазый, с небритым подбородком и корявыми руками. Наверно, такие во время нашего похода в Восточную Пруссию стреляли в наших солдат из «монтекристо». Я не поверил ему и проехал дальше. Шагах в пятистах за фермой начинался лес, в который мне надо было въехать, но мое внимание привлекла куча соломы, в которой я инстинктом охотника угадывал что-то для меня интересное. В ней могли прятаться германцы. Если они вылезут прежде, чем я их замечу, они застрелят меня. Если я замечу их вылезавшими, то — я их застрелю. Я стал объезжать солому, чутко прислушиваясь и держа винтовку на весу. Лошадь фыркала, поводила ушами и слушалась неохотно. Я так был поглощен моим исследованием, что не сразу обратил внимание на редкую трескотню, раздавшуюся со стороны леса. Легкое облачко белой пыли, взвившееся шагах в пяти от меня, привлекло мое внимание. Но только когда, жалостно ноя, пуля пролетела над моей головой, я понял, что меня обстреливают, и притом из лесу. Я обернулся на разъезд, чтобы узнать, что мне делать. Он карьером скакал обратно. Надо было уходить и мне. Моя лошадь сразу поднялась в галоп, и, как последнее впечатление, я запомнил крупную фигуру в черной шинели с каской на голове, на четвереньках с медвежьей хваткой вылезавшую из соломы. Пальба уже стихла, когда я присоединился к разъезду. Корнет был доволен. Он открыл неприятеля, не потеряв при этом ни одного человека. Через десять минут наша артиллерия примется за дело. А мне было только мучительно обидно, что какие-то люди стреляли по мне, бросили мне этим вызов, а я не принял его и повернул. Даже радость избавления от опасности несколько не смягчала этой внезапно закипевшей жажды боя и мести. Теперь я понял, почему кавалеристы так мечтают об атаках. Налететь на людей, которые, запрятавшись в кустах и окопах, безопасно расстреливают издали видных всадников, заставить их бледнеть от все учащающегося топота копыт, от сверкания обнаженных шашек и грозного вида наклоненных пик, своей стремительностью легко опрокинуть, точно сдунуть, втрое сильнеешего противника, это — единственное оправдание всей жизни кавалериста.

На другой день испытал я и шрапнельный огонь. Наш эскадрон занимал В., который ожесточенно обстреливали германцы. Мы стояли на случай их атаки, которой так и не было. Только вплоть до вечера, все время протяжно и не без приятности, пела шрапнель, со стен сыпалась шпакатурка да кое-где загорались дома. Мы входили в опустошенные квартиры и кипятили чай. Кто-то даже нашел в подвале насмерть перепуганного жителя, который с величайшей готовностью продал нам недавно зарезанного поросенка. Дом, в котором мы его съели, через полчаса после нашего ухода был продырявлен тяжелым снарядом. Так я научился не бояться артиллерийского огня.

Глава 2

Самое тяжелое для кавалериста на войне — это ожидание. Он знает, что ему ничего не стоит зайти во фланг движущемуся противнику, даже оказаться у него в тылу, и что никто его не окружит, не отрежет путей к отступлению, что всегда окажется спасительная тропинка, по которой целая кавалерийская дивизия легким галопом уйдет из-под самого носа одураченного врага. Каждое утро, еще затемно, мы, путаясь среди канав и изгородей, выбирались на позицию и весь день проводили за каким-нибудь бугром, то прикрывая артиллерию, то просто поддерживая связь с неприятелем. Была глубокая осень, голубое холодное небо, на резко-чернеющих ветках золотые обрывки парчи, но с моря дул пронзительный ветер, и мы с синими лицами, с покрасневшими веками плясали вокруг лошадей и засовывали под седла окоченелые пальцы. Странно, время тянулось совсем не так долго, как можно было предполагать. Иногда, чтобы согреться, шли взводом на взвод, и молча целыми кучами барахтались на земле. Порой нас развлекали рвущиеся поблизости шрапнели, кое-кто робел, другие смеялись над ним и спорили, по нам или не по нам стреляют немцы. Настоящее томление наступало только тогда, когда уезжали квартирьеры на отведенный нам бивак, и мы ждали сумерек, чтобы последовать за ними. О, низкие, душные халупы, где под кроватью кудахтают куры, а под столом поселился баран; о, чай! который можно пить только с сахаром в прикуску, но зато никак не меньше шести стаканов; о, свежая солома! расстеленная для сна по всему полу, — никогда ни о каком комфорте не мечтается с такой жадностью, как о вас!! И безумно-дерзкие мечты, что на вопрос о молоке и яйцах, вместо традиционного ответа «Вшисто германи забрали» хозяйка поставит на стол крынку с густым налетом сливок, и что на плите радостно зашипит большая яичница с салом! И горькие разочарования, когда приходится ночевать на сеновалах или на снопах немолоченного хлеба, с цепкими, колючими колосьями, дрожать от холода, вскакивать и сниматься с бивака по тревоге!

Отряд русских солдат, идущих на фронт

Предприняли мы однажды разведывательное наступление, перешли на другой берег реки Ш. и двинулись по равнине к далекому лесу. Наша цель была — заставить заговорить артиллерию, и та действительно заговорила. Глухой выстрел, протяжное завывание, и шагах в ста от нас белеющим облачком лопнула шрапнель. Вторая разорвалась уже в пятидесяти шагах, третья — в двадцати. Было ясно, что какой-нибудь обер-лейтенант, сидя на крыше или на дереве, чтобы корректировать стрельбу, надрывается в телефонную трубку: «Правее, правее!» Мы повернули и галопом стали уходить. Новый снаряд разорвался прямо над нами, ранил двух лошадей и прострелил шинель моему соседу. Где рвались следующие, мы уже не видели. Мы скакали по тропинкам холеной рощи вдоль реки под прикрытием ее крутого берега. Германцы не догадались обстрелять брод, и мы без потерь оказались в безопасности. Даже раненых лошадей не пришлось пристреливать, их отправили на излечение. На следующий день противник несколько отошел, и мы снова оказались на другом берегу, на этот раз в роли сторожевого охранения. Трехэтажное кирпичное строение, нелепая помесь средневекового замка и современного доходного дома, было почти разрушено снарядами. Мы приютились в нижнем этаже на изломанных креслах и кушетках. Сперва было решено не высовываться, чтобы не выдать своего присутствия. Мы смиренно рассматривали тут же найденные немецкие книжки, писали домой письма на открытках с изображением Вильгельма.

Немецкие солдаты

Через несколько дней в одно прекрасное, даже не холодное, утро свершилось долгожданное. Эскадронный командир собрал унтер-офицеров и прочел приказ о нашем наступлении по всему фронту. Наступать — всегда радость, но наступать по неприятельской земле, — это радость, удесятеренная гордостью, любопытством и каким-то непреложным ощущением победы. Люди молодцеватее усаживаются в седлах. Лошади прибавляют шаг.

Время, когда от счастья спирается дыхание, время горящих глаз и безотчетных улыбок. Справа по три, вытянувшись длинной змеею, мы пустились по белым, обсаженным столетними деревьями дорогам Германии. Жители снимали шапки, женщины с торопливой угодливостью выносили молоко. Но их было мало, большинство бежало, боясь расплаты за преданные заставы, отравленных разведчиков.

Особенно мне запомнился важный старый господин, сидевший перед раскрытым окном большого помещичьего дома. Он курил сигару, но его брови были нахмурены, пальцы нервно теребили седые усы, и в глазах читалось горестное изумление. Солдаты, проезжая мимо, робко на него взглядывали и шепотом обменивались впечатлениями: «Серьезный барин, наверно генерал... ну, и вредный, надо быть, когда ругается...»

Вот за лесом послышалась ружейная пальба — партия отсталых немецких разведчиков. Туда помчался эскадрон, и все смолкло. Вот над нами раз за разом разорвалось несколько шрапнелей. Мы рассыпались, но продолжали подвигаться вперед. Огонь прекратился. Видно было, что германцы отступают решительно и бесповоротно. Нигде не было заметно сигнальных пожаров, и крылья мельниц висели в том положении, которое им придал ветер, а не германский штаб. Поэтому мы были крайне удивлены, когда услышали невдалеке частую-частую перестрелку, точно два больших отряда вступили между собой в бой. Мы поднялись на пригорок и увидели забавное зрелище. На рельсах узкоколейной железной дороги стоял горящий вагон, и из него и неслись эти звуки. Оказалось, он был наполнен патронами для винтовок, немцы в своем отступлении бросили его, а наши подожгли. Мы расхохотались, узнав, в чем дело, но отступающие враги, наверно, долго и напряженно ломали голову, кто это там храбро сражается с наступающими русскими. Вскоре навстречу нам стали попадаться партии свежепойманных пленников.

Очень был забавен один прусский улан, все время удивлявшийся, как хорошо ездят наши кавалеристы. Он скакал, объезжая каждый куст, каждую канаву, при спусках замедлял аллюр, наши скакали напрямик и, конечно, легко его поймали. Кстати, многие наши жители уверяют, что германские кавалеристы не могут сами сесть на лошадь. Например, если в разъезде десять человек, то один сперва подсаживает девятерых, а потом сам садится с забора или пня. Конечно, это легенда, но легенда очень характерная. Я сам видел однажды, как вылетевший из седла германец бросился бежать, вместо того, чтобы опять вскочить на лошадь.

Вечерело. Звезды кое-где уже прокололи легкую мглу, и мы, выставив сторожевое охранение, отправились на ночлег. Биваком нам послужила обширная благоустроенная усадьба с сыроварнями, пасекой, образцовыми конюшнями, где стояли очень недурные кони. По двору ходили куры, гуси, в закрытых помещениях мычали коровы, не было только людей, совсем никого, даже скотницы, чтобы дать напиток привязанному животному. Но мы на это не сетовали. Офицеры заняли несколько парадных комнат в доме, нижним чинам досталось все остальное. Я без труда отвоевал себе отдельную комнату, принадлежавшую, судя по брошенным женским платьям, бульварным романам и слащавым открыткам, какой-нибудь экономке или камеристке, наколот дров, растопил печь и как был в шинели

бросился на кровать и сразу заснул. Проснулся уже заполночь от леденящего холода. Печь моя потухла, окно открылось, и я пошел в кухню, мечтая погреться у пылающих углей.

И в довершение я получил очень ценный практический совет. Чтобы не озябнуть, никогда не ложиться в шинели, а только покрываться ею. На другой день был дозорным. Отряд двигался по шоссе, я ехал полем, шагах в трехстах от него, причем мне вменялось в обязанность осматривать многочисленные фольварки и деревни, нет ли там немецких солдат, или хоть ландштурмистов, то есть попросту мужчин от семнадцати до сорока трех лет. Это было довольно опасно, несколько сложно, но зато очень увлекательно. В первом же доме я встретил идиотического вида мальчишку, мать уверяла, что ему шестнадцать лет, но ему так же легко могло быть и восемнадцать и даже двадцать. Все-таки я оставил его, а в следующем доме, когда я пил молоко, пуля впилась в дверной косяк вершка на два от моей головы. В доме пастора я нашел лишь служанку-литвинку, говорящую по-польски, она объяснила мне, что хозяева бежали час тому назад, оставив на плите готовый завтрак, и очень уговаривала меня принять участие в его уничтожении. Вообще мне часто приходилось входить в совершенно безлюдные дома, где на плите кипел кофе, на столе лежало начатое вязанье, открытая книга; я вспомнил, о девочке, зашедшей в дом медведей, и все ждал услышать громкое: «Кто съел мой суп? Кто лежал на моей кровати?»

Дикие были развалины города Ш. Ни одной живой души. Моя лошадь пугливо вздрагивала, пробираясь по заваленным кирпичами улицам мимо зданий с вывороченными внутренностями, мимо стен с зияющими дырами, мимо крыш каждую минуту готовых обвалиться. На бесформенной груде обломков виднелась единственная уцелевшая вывеска «Ресторан». Какое счастье было вырваться опять в простор полей, увидеть деревья, услышать милый запах земли.

Вечером мы узнали, что наступление будет продолжаться, но наш полк переводят на другой фронт. Новизна всегда пленяет солдат, но когда я посмотрел на звезды и вдохнул ночной ветер, мне вдруг стало очень грустно расставаться с небом, под которым я как-никак получил мое боевое крещение.

Глава 3

Южная Польша — одно из красивейших мест России. Мы ехали верст восемьдесят от станции железной дороги до соприкосновения с неприятелем, и я успел вдоволь налюбоваться ею. Гор, утех туристов, там нет, но на что равнинному жителю горы? Есть леса, есть воды, и этого довольно вполне. Леса сосновые, сажены, и, проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые как стрелы, аллеи, полные зеленым сумраком с сияющим просветом вдали, — словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан. Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки; широкие, с узенькими между них перешейками, озера блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла; у старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку его детство. В таких местах, что бы ты ни делал — любил или воевал, — все представляется значительным и чудесным. Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи мы слышали грохотанье пушек, развалины еще дымились, и то там то сям кучки жителей зарывали трупы людей и лошадей. Я был назначен в летучую почту на станции К. Мимо нее уже проходили поезда, хотя чаще всего под обстрелом. Из жителей там остались только железнодорожные служащие; они встретили нас с изумительным радушием. Четыре машиниста спорили за честь приютить наш маленький отряд. Когда, наконец, один одержал верх, остальные явились к нему в гости и принялись обмениваться впечатлениями. Надо было видеть, как горели от восторга их глаза, когда они рассказывали, что вблизи их поезда рвалась шрапнель, в паровоз ударила пуля. Чувствовалось, что только недостаток инициативы помешал им записаться добровольцами. Мы расстались друзьями, обещали друг другу писать, но разве такие обещания когда-нибудь сдерживаются?

Русские войска в Варшаве

На другой день, среди милого безделья покойного бивака, когда читаешь желтые книжки Универсальной библиотеки, чистишь винтовку или попросту болтаешь с хорошенькими паненками, нам внезапно скомандовали седлать, и так же внезапно переменным аллюром мы сразу прошли верст пятьдесят. Мимо мелькали одно за другим сонные местечки, тихие и величественные усадьбы, на порогах домов старухи в наскоро наброшенных на голову платках вздыхали, бормоча: «Ой, Матка Бозка». И, выезжая временами на шоссе, мы слушали глухой, как морской прибой, стук бесчисленных копыт и догадывались, что впереди и позади нас идут другие кавалерийские части и что нам предстоит большое дело. Ночь далеко перевалила за половину, когда мы стали на бивак. Утром нам пополнили запас патронов, и мы двинулись дальше. Местность была пустынная: какие-то буераки, низкорослые ели, холмы. Мы построились в боевую линию, назначили, кому спешиваться, кому быть коноводом, выслали вперед разъезды и стали ждать. Поднявшись на пригорок и скрытый деревьями, я видел перед собой пространство приблизительно с версту. По нему там и сям были рассеяны наши заставы. Они были так хорошо скрыты, что большинство я разглядел лишь тогда, когда, отстреливаясь, они стали уходить. Почти следом за ними показались германцы. В поле моего зрения попали три колонны, двигавшиеся шагах в пятистах друг от друга. Они шли густыми толпами и пели. Это была не какая-нибудь определенная песня и даже не наше дружное «ура», а две или три ноты, чередующиеся со свирепой и угрюмой энергией. Я не сразу понял, что поющие — мертвецы пьяны. Так странно было слышать это пение, что я не замечал ни грохота наших орудий, ни ружейной пальбы, ни частого, дробного стука пулеметов. Дикое «а... а... а...» властно покорило мое сознание. Я видел только, как над самыми головами врагов взвиваются облачки шрапнелей, как падают передние ряды, как другие становятся на их место и продвигаются на несколько шагов, чтобы лечь и дать место следующим. Похоже было на разлив весенних вод — та же медленность и неуклонность. Но вот наступила и моя очередь вступить в бой. Послышалась команда: «ложись... прицел восемьсот... эскадрон, пли», и я уже ни о чем не думал, а только стрелял и заряжал, стрелял и заряжал. Лишь где-то в глубине сознания жила уверенность, что все будет как нужно что в должный момент нам скомандуют идти в атаку, или садиться на коней, и тем или другим мы приблизим ослепительную радость последней победы.

Поздно ночью мы отошли на бивак в большое имение.

В комнатке садовника мне его жена вскипятила кварту молока, я поджарил в сале колбасу, и мой ужин разделили со мной мои гости: вольноопределяющийся, которому только что убитая под ним лошадь задавила ногу, и вахмистр со свежей ссадиной на носу, его так поцарапала пуля. Мы уже закурили и мирно беседовали, когда случайно забредший к нам унтер сообщил, что от нашего эскадрона

высылаются развед. Я внимательно себя проэкзаменовал и увидел, что я высался, или вернее выдремался в снегу, что я сыт, согрелся и что нет основания мне не ехать. Правда, первый миг неприятно было выйти из теплой, уютной комнаты на холодный и пустынный двор, но это чувство сменилось бодрым оживлением, едва мы нырнули по невидимой дороге во мрак, навстречу неизвестности и опасности. Разъезд был дальний, и поэтому офицер дал нам вздремнуть, часа три, на каком-то сеновале. Ничто так не освежает, как короткий сон, и наутро мы ехали уже совсем бодрые, освещаемые бледным, но все же милым солнцем. Нам было поручено наблюдать район версты в четыре и сообщать обо всем, что мы заметим. Местность была совершенно ровная, и перед нами как на ладони виднелись три деревни. Одна была занята нами, о двух других ничего не было известно. Держа винтовку в руках, мы осторожно въехали в ближайшую деревню, проехали ее до конца и, не обнаружив неприятеля, с чувством полного удовлетворения напились парного молока, вынесенного нам красивой, словоохотливой старухой. Потом офицер, отозвав меня в сторону, сообщил, что хочет дать мне самостоятельное поручение ехать старшим над двумя дозорными в следующую деревню. Поручение пустяшное, но все-таки серьезное, если принять во внимание мою неопытность в искусстве войны, и главное — первое, в котором я мог проявить свою инициативу. Кто не знает, что во всяком деле начальные шаги приятнее всех остальных. Я решил идти не лавой, то есть в ряд, на некотором расстоянии друг от друга, а цепочкой, то есть один за другим. Таким образом я подвергал меньшей опасности людей и получал возможность скорее сообщить разъезду что-нибудь новое. Разъезд следовал за нами. Мы въехали в деревню и оттуда заметили большую колонну германцев, двигавшуюся верстах в двух от нас. Офицер остановился, чтобы написать донесение, я для очистки совести проехал дальше. Круто загибающаяся дорога вела к мельнице. Я увидел около нее кучку спокойно стоявших жителей и, зная, что они всегда удирают, предвидя столкновение, в котором может достаться и им шальная пуля, рысью подъехал, чтобы расспросить о немцах. Но едва мы обменялись приветствиями, как они с искаженными лицами бросились врассыпную, и передо мной взвилось облачко пыли, а сзади послышался характерный треск винтовки. Я оглянулся: на той дороге, по которой я только что проехал, куча всадников и пеших в черных, жутко-чужого цвета шинелях изумленно смотрела на меня. Очевидно, меня только что заметили. Они были шагах в тридцати. Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана, с двух других сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо на немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом, и я десять раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы из сферы огня. Я выбрал среднее и, оглянув врага, помчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, одна оцарапала луку моего седла. Я не отрываясь смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий, пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить мне дорогу, Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же товарищи. Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновании опасности. Но вот и конец пахотному полю — и зачем только люди придумали земледелие?! — вот канава, которую я беру почти бессознательно, вот гладкая дорога, по которой я полным карьером догоняю свой разъезд. Позади него, не обращая внимания на пули, сдерживает свою лошадь офицер. Дождавшись меня, он тоже переходит в карьер и говорит со вздохом облегчения: «Ну, слава Богу! Было бы ужасно глупо, если б вас убили». Я вполне с ним согласился. Остаток дня мы провели на крыше одиноко стоящей халупы, болтая и посматривая в небо. Германская колонна, которую мы заметили раньше, попала под шрапнель и повернула обратно. Зато разъезды шныряли по разным направлениям. Порой они сталкивались с нашими, и тогда до нас долетал звук выстрелов. Мы ели вареную картошку, по очереди курили одну и ту же трубку.

Глава 4

Немецкое наступление было приостановлено. Надо было расследовать, какие пункты занял неприятель, где он окапывается, где попросту помещает заставы. Для этого высылались ряд разъездов, в состав одного из них вошел и я. Сереньким утром мы затрусили по большой дороге. Навстречу нам тянулись целые обозы беженцев. Мужчины оглядывали нас с любопытством и надеждой, дети тянулись к нам, женщины, всхлипывая, причитали: «Ой, панычи, не езжайте туда, там вас забьют германи». В одной деревне разъезд остановился. Мне с двумя солдатами предстояло проехать дальше и обнаружить неприятеля. Сейчас же за околицей окапывались наши пехотинцы, дальше тянулось поле, над которым рвались шрапнели, там на рассвете был бой и германцы отошли, — дальше чернел небольшой фольварк. Мы рысью направились к нему. Вправо и влево, почти на каждой квадратной сажени валялись трупы немцев. В одну минуту я насчитал их сорок, но их было много больше. Были и раненые. Они как-то внезапно начинали шевелиться, проползали несколько шагов и замирали опять. Один сидел у самого края дороги и, держась за голову, раскачивался и стонал. Мы хотели его подобрать, но решили сделать это на обратном пути. До фольварка мы доскакали благополучно. Нас никто не обстрелял. Но сейчас же за фольварком услышали удары заступа о мерзлую землю и какой-то незнакомый говор. Мы спешили, и я, держа винтовку в руках, прокрался вперед, чтобы выглянуть из-за угла крайнего сарая. Передо мной возвышался небольшой пригорок, и на хребте его германцы рыли окопы. Видно было, как они останавливаются, чтобы потереть руки и закурить, слышен был сердитый голос унтера или офицера. Влево темнела роща, из-за которой неслась орудийная пальба. Это оттуда обстреливали поле, по которому я только что проехал. Я до сих пор не понимаю, почему германцы не выставили никакого пикета в самом фольварке. Впрочем, на войне бывают и не такие чудеса. Я все выглядывал из-за угла сарая, сняв фуражку, чтобы меня приняли просто за любопытствующего «вольного», когда почувствовал сзади чье-то легкое прикосновение. Я быстро обернулся. Передо мной стояла неизвестно откуда появившаяся полька с изможденным, скорбным лицом. Она протягивала мне пригоршню мелких, сморщенных яблок: «Возьми, пан солдат, то есть добже, цукерно». Меня каждую минуту могли заметить, обстрелять; пули летели бы и в нее. Понятно, было невозможно отказаться от такого подарка. Мы выбрались из фольварка. Шрапнель рвалась чаще и чаще и на самой дороге, так что мы решили скакать обратно поодиночке. Я надеялся подобрать раненого немца, но на моих глазах над ним низко, низко разорвался снаряд, и все было кончено.

Немецкое военное снаряжение

На другой день уже смерклось, и все разбрелись по сеновалам и клетушкам большой усадьбы, когда внезапно было велено собраться нашему взводу. Вызвали охотников идти в ночную пешую разведку, очень опасную, как настаивал офицер. Человек десять порасторопнее вышли сразу; остальные, потоптавшись, объявили, что они тоже хотят идти и только стыдятся напрашиваться. Тогда решили, что взводный назначит охотников. И таким образом были выбраны восемь человек, опять-таки побойчее. В числе их оказался и я. Мы на конях доехали до гусарского сторожевого охраненья. За деревьями спешили, оставили троих коноводами и пошли расспросить гусар, как обстоят дела. Усатый вахмистр, запрятанный в воронке от тяжелого снаряда, рассказал, что из ближайшей

деревни несколько раз выходили неприятельские разведчики, крались полем к нашим позициям и он уже два раза стреляли. Мы решились пробраться в эту деревню и, если возможно, забрать какого-нибудь разведчика живьем. Светила полная луна, но на наше счастье она то и дело скрывалась за тучами. Выждав одно из таких затмений, мы, согнувшись, гуськом побежали к деревне, но не по дороге, а в канаве, идущей вдоль нее. У околицы остановились. Отряд должен был оставаться здесь и ждать, двум охотникам предлагалось пройти по деревне и посмотреть, что делается за нею. Пошли я и один запасной унтер-офицер, прежде вежливый служитель в каком-то казенном учреждении, теперь один из храбрейших солдат считающегося боевым эскадрона. Он по одной стороне улицы, я — по другой. По свистку мы должны были возвращаться назад. Вот я совсем один, посреди молчаливой, словно притаившейся деревни, из-за угла одного дома перебегаю к углу следующего. Шагах в пятнадцать вбок мелькает крадущаяся фигура. Это мой товарищ. Из самолюбия я стараюсь идти впереди его, но слишком торопиться все-таки страшно. Мне вспоминается игра в палочку-воровочку, в которую я всегда играю летом в деревне. Там то же затаенное дыханье, то же веселое сознание опасности, то же инстинктивное умение подкрадываться и прятаться. И почти забываешь, что здесь, вместо смеющихся глаз хорошенькой девушки, товарища по игре, можешь встретить лишь острый и холодный, направленный на тебя штык. Вот и конец деревни. Становится чуть светлее, это луна пробивается сквозь неплотный край тучи: я вижу перед собой невысокие, темные бугорки окопов и сразу запоминаю, словно фотографирую в памяти, их длину и направление. Ведь за этим я сюда и пришел. В ту же минуту передо мной вырисовывается человеческая фигура. Она вглядывается в меня и тихонько свистит каким-то особенным, очевидно условным, свистом. Это враг, столкновение неизбежно. Во мне лишь одна мысль, живая и могучая, как страсть, как бешенство, как экстаз: я его или он меня! Он нерешительно поднимает винтовку, я знаю, что мне стрелять нельзя, врагов много поблизости, и бросаюсь вперед с опущенным штыком. Мгновение — и передо мной никого. Может быть, враг присел на землю, может быть, отскочил. Я останавливаюсь и начинаю всматриваться. Что-то чернеет. Я приближаюсь и трогаю штыком, нет, это бревно. Что-то чернеет опять. Вдруг сбоку от меня раздается необычайно громкий выстрел, и пуля ноет обидно близко перед моим лицом. Я оборачиваюсь, в моем распоряжении несколько секунд, пока враг будет менять патрон в магазине винтовки. Но уже из окопов слышится противное харканье выстрелов тра-тра-тра, и пули свистят, ноют, визжат. Я побежал к своему отряду. Особенного страха я не испытывал, я знал, что ночная стрельба не действительна, и мне только хотелось проделать все как можно правильнее и лучше. Поэтому, когда луна осветила поле, я бросился ничком и так отполз в тень домов, там уже идти было почти безопасно. Мой товарищ унтер-офицер, возвратился одновременно со мной. Он еще не дошел до края деревни, когда началась пальба. Мы вернулись к коням. В одинокой халупе обменялись впечатлениями, поужинали хлебом с салом, офицер написал и отправил донесение, и мы вышли опять посмотреть, нельзя ли что-нибудь устроить. Но увы! — ночной ветер в ключья изодрал тучи, круглая, красноватая луна опустилась над неприятельскими позициями и слепила нам глаза. Нам было видно как на ладони, мы не видели ничего. Мы готовы были плакать с досады и назло судьбе все-таки поползли в сторону неприятеля. Луна могла же опять скрыться, или мог же нам встретиться какой-нибудь шальной разведчик! Однако, ничего этого не случилось, нас только обстреляли, и мы уползли обратно, проклиная лунные эффекты и осторожность немцев. Все же добытые нами сведениягодились, нас благодарили, и я получил за эту ночь Георгиевский крест.

Следующая неделя выдалась сравнительно тихая. Мы седлали еще в темноте, и по дороге к позиции я любовался каждый день одной и той же мудрой и яркой гибелью утренней звезды на фоне акварельно-нежного рассвета. Днем мы лежали на опушке большого соснового леса и слушали отдаленную пушечную стрельбу. Слегка пригревало бледное солнце, земля была густо устлана мягкими, странно пахнущими иглами. Как всегда зимою, я томился по жизни летней природы, и так сладко было, совсем близко вглядываясь в кору деревьев замечать в ее грубых складках каких-то проворных червячков и микроскопических мушек. Они куда-то спешили, что-то делали, несмотря на то, что на дворе стоял декабрь. Жизнь теплилась в лесу, как внутри черной, почти холодной, головешки теплится робкий, тлеющий огонек. Глядя на нее, я всем существом радостно чувствовал, что сюда опять вернутся большие, дикий птицы и птицы маленькие, но с хрустальными, серебряными и малиновыми голосами, распустятся душно пахнущие цветы, мир вдоволь нальется бурной красотой для торжественного празднования колдовской и священной Ивановой ночи. Иногда мы останавливались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа на спине, я часами смотрел на бесчисленные, ясные от мороза звезды и забавлялся, соединяя их в воображении золотыми нитями. Сперва это был ряд геометрических чертежей, похожий на развернутый свиток Каббалы. Потом я начинал различать, как на затканном золотом ковре, различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в непонятных для меня, но полных нечеловеческого смысла сочетаниях. Наконец, явственно вырисовывались небесные звери. Я видел, как Большая Медведица, опустив морду, принокливается к чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновение меня охватывал невыразимый страх, что они посмотрят вниз и заметят там нашу Землю. Ведь тогда она сразу обратится в огромный кусок матово-белого льда и полетит вне всяких орбит, заражая своим ужасом другие миры. Тут я обыкновенно шепотом просил у соседа махорки, свертывал цыгарку и с наслаждением выкуривал ее в руках: курить иначе значило выдать неприятелю наше расположение.

В конце недели нас ждала радость. Нас отвели в резерв армии, и полковой священник совершил богослужение. Идти на него не принуждали, но во всем полку не было ни одного человека, который бы не пошел. На открытом поле тысяча человек выстроилась стройным прямоугольником, в центре его священник в золотой ризе говорил вечные и сладкие слова, служба молебна. Было похоже на полевые молебны о дожде в глухих, далеких русских деревнях. То же необъятное небо вместо купола, те же простые и родные, сосредоточенные лица. Мы хорошо помолились в тот день.

Глава 5

Было решено выравнивать фронт, отойдя верст на тридцать, и кавалерия должна была прикрывать этот отход. Поздно вечером мы приблизились к позиции, и тотчас же со стороны неприятеля на нас опустился и медленно застыл свет прожектора, как взгляд высокомерного человека. Мы отъехали; он, скользя по земле и по деревьям, последовал за нами. Тогда мы галопом описали петли и стали за деревню, а он еще долго тыкался туда и сюда, безнадежно отыскивая нас. Мой взвод был отправлен к штабу казачьей дивизии, чтобы служить связью между ним и нашей дивизией. Лев Толстой в «Войне и мире» посмеивается над штабными и отдает предпочтение строевым офицерам. Но я не видел ни одного штаба, который ухитрился бы раньше, чем снаряды начинали рваться над его помещением. Казачий штаб расположился в большом местечке Р. Жители бежали еще накануне, обоз ушел, пехота тоже, но мы сидели больше суток, слушая медленно надвигающуюся стрельбу — это казаки задерживали неприятельские цепи. Рослый и широкоплечий полковник каждую минуту подбегал к телефону и весело кричал в трубку: «Так... отлично... задержитесь еще немного... все идет хорошо...» И от этих слов по всем фольваркам, канavam и перелескам, занятым казаками, разливались уверенность и спокойствие, столь необходимые в бою. Молодой начальник дивизии, носитель одной из самых громких фамилий России, по временам выходил на крыльцо послушать пулеметы и улыбался тому, что все идет так, как нужно. Мы, уланы, беседовали со степенными, бородатыми казаками, проявляя при этом ту изысканную любезность, с которой относятся друг к другу кавалеристы разных частей. К обеду до нас дошел слух, что пять человек

нашего эскадрона попали в плен. К вечеру я уже видел одного из этих пленных, остальные высypались на сеновале. Вот что с ними случилось. Их было шестеро в сторожевом охранении. Двое стояли на часах, четверо сидели в халупе. Ночь была темная и ветреная, враги подкрались к часовому и опрокинули его. Подчасок дал выстрел и бросился к коням, его тоже опрокинули. Сразу человек пятьдесят ворвались во двор и принялись палить в окна дома, где находился наш пикет. Один из наших выскочил и, работая штыком, прорвался к лесу, остальные последовали за ним, но передний упал, запнувшись на пороге, на него попадали и его товарищи. Неприятеля, это были австрийцы, обезоружили их и под конвоем тоже пяти человек отправили в штаб. Десять человек оказались одни, без карты, в полной темноте, среди путаницы дорог и тропинок. По дороге австрийский унтер-офицер на ломаном русском языке все расспрашивал наших, где «кози», то есть казаки. Наши с досадой отмалчивались и наконец объявили, что «кози» именно там, куда их ведут, в стороне неприятельских позиций. Это произвело чрезвычайный эффект. Австрийцы остановились и принялись о чем-то оживленно спорить. Ясно было, что они не знали дороги. Тогда наш унтер-офицер потянул за рукав австрийского и ободрительно сказал: «Ничего, пойдем, я знаю, куда идти». Пошли, медленно загибая в сторону русских позиций. В белесых сумерках утра среди деревьев мелькнули серые кони — гусарский разъезд. «Вот и кози!» — воскликнул наш унтер, выхватывая у австрийца винтовку. Его товарищи обезоружили остальных. Гусары немало смеялись, когда вооруженные австрийскими винтовками уланы подошли к ним, конвоируя своих только что захваченных пленных. Опять пошли в штаб, но теперь уже русский. По дороге встретился казак. «Ну-ка, дядя, покажи себя», — попросили наши. Тот надвинул на глаза папаху, всклокочил пятерней бороду, взвизгнул и пустил коня вскачь. Долго после этого пришлось ободрять и успокаивать австрийцев.

Нижние чины лейб-гвардии Гусарского полка в парадном обмундировании, 1910-е гг.

Урядник Сибирской полусотни 3-й сотни лейб-гвардии Свободно-Казачьего полка. 1914 г.

На следующий день штаб казачьей дивизии и мы с ним отошли версты за четыре, так что нам были видны только фабричные трубы местечка Р. Меня послали с донесением в штаб нашей дивизии. Дорога лежала через Р., но к ней уже подходили германцы. Я все-таки сунулся, вдруг удастся проскочить. Едущие мне навстречу офицеры последних казачьих отрядов останавливали меня вопросом — вольноопределяющийся, куда? — и, узнав, с сомнением покачивали головой. За стеною крайнего дома стоял десяток спешенных казаков с винтовками наготове. «Не проедете, — сказали они, — вон уже где палят». Только я выдвинулся, как защелкали выстрелы, запрыгали пули. По главной улице двигались навстречу мне толпы германцев, в переулках слышался шум других. Я поверотил, за мной, сделав несколько залпов, последовали и казаки. На дороге артиллерийский полковник, уже останавливавший меня, спросил:

— Ну, что, не проехали?

— Никак нет, там уже неприятель.

— Вы его сами видели?

— Так точно, сам. — Он повернулся к своим ординарцам: — Пальба из всех орудий по местечку.

Кубанские казаки в мае 1916 года

Я поехал дальше. Однако мне все-таки надо было пробраться в штаб. Разглядывая старую карту этого уезда, случайно оказавшуюся у меня, советуясь с товарищем, с донесением всегда посылают двоих, и расспрашивая местных жителей, я кружным путем через леса и топи приближался к назначенной мне деревне. Двигаться приходилось по фронту наступающего противника, так что не было ничего удивительного в том, что при выезде из какой-то деревушки, где мы только что, не слезая с седел, напились молока, нам под прямым углом перерезал путь неприятельский разъезд. Он, очевидно, принял нас за дозорных, потому что вместо того, чтобы атаковать нас в конном строю, начал спешиваться для стрельбы. Их было восемь человек, и мы, свернув за дома, стали уходить. Когда стрельба стихла, я обернулся и увидел за собой на вершине холма скачущих всадников — нас преследовали; они поняли, что нас только двое. В это время сбоку опять послышались выстрелы, и прямо на нас карьером вылетели три казака: двое молодых, скуластых парней и один бородач. Мы столкнулись и придержали коней.

— Что там у вас? — спросил я бородача.

— Пешие разведчики, с полсотни. А у вас?

— Восемь конных.

Он посмотрел на меня, я на него, и мы поняли друг друга. Несколько секунд помолчали.

— Ну, поедем, что ли! — вдруг, словно нехотя, сказал он, а у самого так и зажглись глаза. Скуластые парни, глядевшие на него с тревогой, довольно трянули головой и сразу стали заворачивать коней. Едва мы поднялись на только что оставленный нами холм, как увидели врагов, спускавшихся с противоположного холма. Мой слух обжег не то визг, не то свист, одновременно напоминающий моторный гудок и шипенье большой змеи, передо мной мелькнули спины рванувшихся казаков, и я сам бросил поводья, бешено заработал шпорами, только высшим напряжением воли вспомнив, что надо обнажить шашку. Должно быть, у нас был очень решительный вид, потому что немцы без всякого колебания пустились наутек. Гнали они отчаянно, и расстояние между нами почти не уменьшалось. Тогда бородачатый казак вложил в ножны шашку, поднял винтовку, выстрелил, промахнулся, выстрелил опять, и один из немцев поднял обе руки, закачался и, как подброшенный, вылетел из седла. Через минуту мы уже неслись мимо него. Но всему бывает конец! Немцы свернули круто влево, и навстречу нам посыпались пули. Мы наскочили на неприятельскую цепь. Однако казаки повернули не раньше, чем поймали беспорядочно носившуюся лошадь убитого немца. Они гонялись за ней, не обращая внимания на пули, словно в своей родной степи. «Батурина пригодится, — говорили они, — у него вчера убили доброго коня». Мы расстались за бугром, дружески пожав друг другу руки. Штаб свой я нашел лишь часов через пять и не в деревне, а посреди лесной поляны на низких пнях и сваленных стволах деревьев. Он тоже отошел уже под огнем неприятеля.

И штабу казачьей дивизии я вернулся в полночь. Поел холодной курицы и лег спать, как вдруг засуетились, послышался приказ седлать, и мы снялись с бивака по тревоге. Была беспросветная темь. Заборы и канавы вырисовывались лишь тогда, когда лошадь натыкалась на них или проваливалась. Спросонок я даже не разбирал направления. Когда ветви больно хлестали по лицу, знал, что едем по лесу, когда у самых ног плескалась вода, знал, что переходим вброд реки. Наконец остановились у какого-то большого дома. Коней поставили во дворе, сами вошли в сени, зажгли огарки... и отшатнулись, услыша громовой голос толстого, старого ксендза, вышедшего нам навстречу в одном нижнем белье и с медным подсвечником в руке. «Что это такое, — кричал он, — мне и ночью не дают покою! Я не выспался, я еще хочу спать!» Мы пробормотали робкие извинения, но он прыгнул вперед и схватил за рукав старшего из офицеров: «Сюда, сюда, вот столовая, вот гостиная, пусть ваши солдаты принесут соломы. Юзя, Зося, подушки панам, да достаньте чистые наволочки». Когда я проснулся, было уже светло. Штаб в соседней комнате занимался делом, принимал донесения и рассылал приказания, а передо мной бушевал хозяин: «Вставайте скорее, кофе простынет, все уже давно напились!» Я умылся и сел за кофе. Ксендз сидел против меня и сурово меня допрашивал:

— Вы вольноопределяющийся?

— Добровольец.

— Чем прежде занимались?

— Был писателем.

— Настоящим?

— Об этом я не могу судить. Все-таки печатался в газетах и журналах, издавал книги.

— Теперь пишете какие-нибудь записки?

— Пишу.

Его брови раздвинулись, голос сделался мягким и почти просительным:

— Так уж, пожалуйста, напишите обо мне, как я здесь живу, как вы со мной познакомились.

Я искренно обещал ему это.

— Да нет, вы забудете. Юзя, Зося, карандаш и бумагу!

И он записал мне название уезда и деревни, свое имя и фамилию. Но разве что-нибудь держится за обшлагом рукава, куда кавалеристы обыкновенно прячут разные записки, деловые, любовные и просто так? Через три дня я уже потерял все и эту в том числе. И вот теперь я лишен возможности отблагодарить достопочтенного патера (не знаю его фамилии) из деревни (забыл ее название) не за подушку в чистой наволочке, не за кофе с вкусными пышками, но за его глубокую ласковость под суровыми манерами и за то, что он так ярко напомнил мне тех удивительных стариков-отшельников, которые так же ссорятся и дружатся с ночными путниками в давно забытых, но некогда мною любимых романах Вальтера Скотта.

Глава 6

Фронт был выровнен. Кое-где пехота отбивала противника, вообразившего, что он наступает по собственной инициативе, кавалерия занималась усиленной разведкой. Нашему разъезду было поручено наблюдать за одним из таких боев и сообщать об его развитии и случайностях в штаб. Мы нагнали пехоту в лесу. Маленькие серые солдатики со своими огромными сумками шли вразброд, теряясь на фоне кустарника и сосновых стволов. Одни на ходу закусывали, другие курили, молодой прапорщик весело помахивал тростью. Это был испытанный, славный полк, который в бой шел, как на обычную полевую работу, и чувствовалось, что в нужную минуту все окажутся на своих местах без путаницы, без суматохи, и каждый отлично знает, где он должен быть и что делать. Батальонный командир верхом на лохматой казачьей лошадке поздоровался с нашим офицером и попросил узнать, есть ли перед деревней, на которую он наступал, неприятельские окопы. Мы были очень рады помочь пехоте, и сейчас же был выслан унтер-офицерский разъезд, который повел я. Местность была удивительно удобная для кавалерии: холмы, из-за которых можно было неожиданно показываться, и овраги, по которым легко было уходить. Едва я поднялся на первый пригорок, щелкнул выстрел — это был только неприятельский секрет. Я взял вправо и проехал дальше. В бинокль было видно все поле до деревни, оно было пусто. Я послал одного человека с донесением, а сам с остальными тремя соблазнился пугнуть обстрелявший нас секрет. Для того чтобы точнее узнать, где он залег, я снова высунулся из кустов, услышал еще выстрел и тогда, наметив небольшой пригорок, помчался на него, стараясь оставаться невидимым со стороны деревни. Мы доскакали до пригорка — никого. Неужели я ошибся? Нет, вот один из моих людей, спешившись, подобрал новенькую австрийскую винтовку, другой заметил свежесрубленные ветви, на которых только что лежал австрийский секрет. Мы поднялись на холм и увидели троих бегущих во всю прыть людей. Видимо, их смертельно перепугала неожиданная конная атака, потому что они не стреляли и даже не оборачивались. Преследовать их было невозможно, нас обстреляли бы из деревни, кроме того, наша пехота уже вышла из лесу, и нам нельзя было торчать перед ее фронтом. Мы вернулись к разъезду и, рассевшись на крыше и развесистых вязах старой мельницы, стали наблюдать за боем.

Казак лейб-гвардии Казачьего полка

Дивное зрелище — наступление нашей пехоты. Казалось, серое поле ожило, начало морщиться, выбрасывая из своих недр вооруженных людей на обреченную деревню. Куда ни обращался взгляд, он везде видел серые фигуры, бегущие, ползущие, лежащие. Сосчитать их было невозможно. Не верилось, что это были отдельные люди, скорее это был цельный организм, существо бесконечно сильнее и страшнее динозавров и плезиозавров. И для этого существа возрождался величественный ужас космических переворотов и катастроф. Как гул землетрясений грохотали орудийные залпы и несмолкаемый треск винтовок; как болиды летали гранаты и рвалась

щрапнель. Действительно, по слову поэта, нас призвали всеблагие, как собеседников на пир, и мы были зрителями их высоких зрелищ. И я, и изящный поручик с браслетом на руках, и вежливый унтер, и рябой запасной, бывший дворник, мы оказались свидетелями сцены, больше всего напоминавшей третичный период Земли. Я думал, что только в романах Уэллса бывают такие парадоксы. Но мы не оказались на высоте положения и совсем не были похожи на олимпийцев. Когда бой разгорался, мы тревожились за фланг нашей пехоты, громко радовались ее ловким маневрам, в минуту затишья выпрашивали друг у друга папиросы, делились хлебом и салом, разыскивали сена для лошадей. Впрочем, может быть, такое поведение было единственным достойным при данных обстоятельствах. Мы въехали в деревню, когда на другом конце ее еще кипел бой. Наша пехота двигалась от халупы до халупы, все время стреляя, иногда идя в штыки. Стреляли и австрийцы, но от штыкового боя уклонялись, спасаясь под защиту пулеметов. Мы вошли в крайнюю халупу, где собирались раненные. Их было человек десять. Они были заняты работой. Раненные в руку притаскивали жерди, доски и веревки, раненные в ногу быстро устраивали из всего этого носилки для своего товарища с насквозь простреленной грудью. Хмурый австриец, с горлом проткнутым штыком, сидел в углу, кашлял и непрерывно курил цыгарки, которые ему вертели наши солдаты. Когда носилки были готовы, он встал, уцепился за одну из ручек и знаками — говорить он не мог — показал, что хочет помогать их нести. С ним не стали спорить и только скрутили ему сразу две цыгарки. Мы возвращались обратно немного разочарованные. Наша надежда в конном строю преследовать бегущего неприятеля не оправдалась. Австрийцы засели в окопах за деревней, и бой на этом прекратился. Эти дни нам много пришлось работать вместе с пехотой, и мы вполне оценили ее непоколебимую стойкость и способность к бешеному порыву. В продолжение двух дней я был свидетелем боя. Маленький отряд кавалерии, посланный для связи с пехотой, остановился в доме лесника, в двух верстах от места боя, а бой кипел по обе стороны реки. К ней приходилось спускаться с совершенно открытого, отлогого бугра, и немецкая артиллерия была так богата снарядами, что обстреливала каждого одиночного всадника. Ночью было не лучше. Деревня пылала, и от зарева было светло, как в самые ясные, лунные ночи, когда так четко рисуются силуэты. Проскакав этот опасный бугор, мы сразу попадали в сферу ружейного огня, а для всадника, представляющего собой отличную цель, это очень неудобно. Приходилось жаться за халупами, которые уже начинали загораться. Пехота переправилась через реку на понтонах, в другом месте то же делали немцы. Две наши роты были окружены на той стороне, они штыками пробились к воде и вплавь присоединились к своему полку. Немцы взгрозились на костел пулеметы, которые приносили нам много вреда. Небольшая партия наших разведчиков по крышам и сквозь окна домов подобралась к костелу, ворвалась в него, кинула вниз пулеметы и продержалась до прихода подкрепления. В центре кипел непрерывный штыковой бой, и немецкая артиллерия засыпала снарядами и наших и своих. На окраинах, где не было такой суматохи, происходили сцены прямо чудесного героизма. Немцы отбили два наших пулемета и торжественно повезли их к себе. Один наш унтер-офицер пулеметчик схватил две ручные бомбы и бросился им наперерез. Подбежал шагов на двадцать и крикнул: «Везите пулеметы обратно, или убью и вас и себя!» Несколько немцев вскинули к плечу винтовки. Тогда он бросил бомбу, которая убила троих и поранила его самого. С окровавленным лицом он подскочил к врагам вплотную и, потрясая оставшейся бомбой, повторил свой приказ. На этот раз немцы послушались и повезли пулеметы в нашу сторону. А он шел за ними, выкликая бессвязные ругательства и колотя немцев бомбой по спинам. Я встретил это странное шествие уже в пределах нашего расположения. Герой не позволял никому прикоснуться ни к пулеметам, ни к пленным, он вел их к своему командиру. Как в бреду, не глядя ни на кого, рассказывал он о своем подвиге: «Вижу, пулеметы ташут. Ну, думаю, сам пропаду, пулеметы верну. Одну бомбу бросил, другая вот. Пригодится. Жалко же пулеметы... — и сейчас же опять принимался кричать на смертельно бледных немцев. — Ну-ну, иди, не задерживайся!»

Глава 7

Всегда приятно переезжать на новый фронт. На больших станциях пополняешь свои запасы шоколада, папирос, книг, гадаешь, куда приедешь — тайна следования сохраняется строго, мечтаешь об особых преимуществах новой местности, о фруктах, о паненках, о просторных домах, отдыхаешь, валяясь на соломе просторных телгушек. Высадившись, удивляешься пейзажам, знакомишься с характером жителей, — главное, что надо узнать, есть ли у них сало и продают ли они молоко, — жадно запоминаешь слова еще слышанного языка. Это целый спорт, скорее других научиться болтать по-польски, малороссийски или литовски. Но возвращаться на старый фронт еще приятнее. Потому что неверно представляют себе солдат бездомными, они привыкают и к сараю, где несколько раз переночевали, и к ласковой хозяйке, и к могиле товарища. Мы только что возвратились на насиженные места и упивались воспоминаниями. Нашему полку была дана задача найти врага. Мы, отступая, наносили германцам такие удары, что они местами отстали на целый переход, а местами даже сами отступали. Теперь фронт был выровнен, отступление кончилось, надо было, говоря технически, войти в связь с противником. Наш разъезд, один из цепи разъездов, весело поскакал по размытой весенней дороге, под блестящим, словно только что вымытым, весенним солнцем. Три недели мы не слышали свиста пуль, музыки, к которой привыкаешь, как к вину, кони отелись, отдохнули, и так радостно было снова попытаться судьбу между красных сосен и невысоких холмов. Справа и слева уже слышались выстрелы: это наши разъезды натыкались на немецкие заставы. Перед нами пока все было спокойно: порхали птицы, в деревне лаяла собака. Однако продвигаться вперед было слишком опасно. У нас оставались открытыми оба фланга. Разъезд остановился, и мне (только что произведенному в унтер-офицеры) с четырьмя солдатами было поручено осмотреть черневший вправо лесок. Это был мой первый самостоятельный разъезд — жаль было бы его не использовать. Мы рассыпались лавой и шагом въехали в лес. Заряженные винтовки лежали поперек седел, шашки были на вершок выдвинуты из ножен, напряженный взгляд каждую минуту принимал за притаившихся людей большие коряги и пни, ветер в сучьях шумел совсем, как человеческий разговор, и к тому же на немецком языке. Мы проехали один овраг, другой — никого. Вдруг на самой опушке, уже за пределами назначенного мне района, я заметил домик, не то очень бедный хутор, не то сторожку лесника. Если немцы вообще были поблизости, они засели там. У меня быстро появился план карьером обогнуть дом и в случае опасности уходить опять в лес. Я расставил людей по опушке, велел поддержать меня огнем. Мое возбуждение передалось лошади. Едва я тронул ее шпорами, как она помчалась, расстилаясь по земле и в то же время чутко слушаясь каждого движения поводьев. Первое, что я заметил, заскакав за домик, были три немца, сидевшие на земле в самых непринужденных позах; потом несколько оседланных лошадей; потом еще одного немца, застывшего верхом на заборе, он очевидно собрался его перелезть, когда заметил меня. Я выстрелил наудачу и помчался дальше. Мои люди, едва я к ним присоединился, тоже дали залп. Но в ответ по нам раздался другой, гораздо более внушительный, винтовок в двадцать по крайней мере. Пули засвистали над головой, защелкали о стволы деревьев. Нам больше нечего было делать в лесу, и мы ушли. Когда мы поднялись на холм уже за лесом, мы увидели наших немцев, поодиночке скачущих в противоположную сторону. Они выбили нас из лесу, мы выбили их из фольварка. Но так как их было вчетверо больше, чем нас, наша победа была блистательнее.

«В Пруссию!» Картина, посвященная походу в Восточную Пруссию. 1914 г.

В два дня мы настолько осветили положение дела на фронте, что пехота могла начать наступление. Мы были у неё на фланге и

Очередно занимали сторожевое охранение. Погода сильно испортилась. Дул сильный ветер, и стояли морозы, а я не знаю ничего тяжелее соединения этих двух климатических явлений. Особенно плохо было в ту ночь, когда очередь дошла до нашего эскадрона. Еще не доехав до места, я весь посинел от холода и принялся интриговать, чтобы меня не посылали на пост, а оставили на главной заставе в распоряжении ротмистра. Мне это удалось. В просторной халупе с плотно занавешенными окнами и растопленной печью было светло, тепло и уютно. Но едва я получил стакан чаю и принялся сладострастно греть об него свои пальцы, ротмистр сказал: «Кажется, между вторым и третьим постом слишком большое расстояние. Гумилев, поезжайте, посмотрите, так ли это, и если понадобится, выставьте промежуточный пост». Я оставил мой чай и вышел. Мне показалось, что я окунулся в ледяные чернила, так было темно и холодно. Ощупью я добрался до моего коня, взял проводника, солдата, уже бывавшего на постах, и выехал со двора. В поле было чуть-чуть светлее. По дороге мой спутник сообщил мне, что какой-то немецкий разъезд еще днем проскочил сквозь линию сторожевого охранения и теперь путается поблизости, стараясь прорваться назад. Только он кончил свой рассказ, как перед нами в темноте послышался стук копыт и обрисовалась фигура всадника. «Кто идет?» — крикнул я и прибавил рыси. Незнакомец молча повернул коня и помчался от нас. Мы за ним, выхватив шашки и предвкушая удовольствие привести пленного. Гнаться легче, чем убегать. Не задумываясь о дороге, скачешь по следам. Я уже почти настиг беглеца, когда он вдруг сдержал лошадь, и я увидел на нем вместо каски обыкновенную фуражку. Это был наш улан, проезжавший от поста к посту, и он, так же как мы его, принял нас за немцев. Я посетил пост, восемь полузамерзших людей на вершине поросшего лесом холма и выставил промежуточный пост в ложнине. Когда я снова вошел в халупу и принялся за новый стакан горячего чаю, я подумал, что это — счастливейший миг моей жизни. Но увы, он длился недолго. Три раза в эту проклятую ночь я должен был объезжать посты, и вдобавок меня обстреляли, заблудший ли немецкий разъезд или так, пешие разведчики, не знаю. И каждый раз так не хотелось выходить из светлой халупы, от горячего чая и разговоров о Петрограде и петроградских знакомых на холод, в темноту, под выстрелы. Ночь была беспокойная. У нас убили человека и двух лошадей. Поэтому все вздохнуло свободнее, когда рассвело и можно было отвести посты назад.

Всей заставой с ротмистром во главе мы поехали навстречу возвращающимся постам. Я был впереди, показывая дорогу, и уже почти съехался с последним из них, когда ехавший мне навстречу поручик открыл рот, чтобы что-то сказать, как из лесу раздался залп, потом отдельные выстрелы, застучал пулемет — и все это по нам. Мы повернули под прямым углом и бросились за первый бугор. Раздалась команда: «К пешему строю... выходи!...» — и мы залегли по гребню, зорко наблюдая за опушкой леса. Вот за кустами мелькнула кучка людей в синевато-серых шинелях. Мы дали залп. Несколько человек упало. Опять затрещал пулемет, загрели выстрелы, и германцы поползли на нас. Сторожное охранение развертывалось в целый бой. То там то сям из лесу выдвигалась согнутая фигура в каске, быстро скользила между кочками до первого прикрытия и оттуда, поджидая товарищей, открывала огонь. Может быть, уже целая рота придвинулась к нам шагов на триста. Нам грозила атака, и мы решили пойти в контратаку в конном строю. Но в это время галопом примчались из резерва два других наших эскадрона и, спешившись, вступили в бой. Немцы были отброшены нашим огнем обратно в лес. Во фланг им поставили наш пулемет, и он, наверно, наделал им много беды. Но они тоже усиливались. Их стрельба увеличилась, как разгорающийся огонь. Наши цепи пошли было в наступление, но их пришлось вернуть. Тогда, словно богословы из «Вия», вступавшие в бой для решительного удара, заговорила наша батарея. Торопливо рывкали орудия, црапнель с визгом и ревом неслась над нашими головами и разрывалась в лесу. Хорошо стреляют русские артиллеристы. Через двадцать минут, когда мы снова пошли в наступление, мы нашли только несколько десятков убитых и раненых, кучу брошенных винтовок и один совсем целый пулемет. Я часто замечал, что германцы, так стойко выносящие ружейный огонь, быстро теряются от огня орудийного. Наша пехота где-то наступала, и немцы перед нами отходили, выравнивая фронт. Иногда и мы на них напирали, чтобы ускорить очищение какого-нибудь важного для нас фольварка или деревни, но чаще приходилось просто отмечать, куда они отошли. Время было нетрудное и веселое. Каждый день разъезды, каждый вечер спокойный бивак — отступавшие немцы не осмеливались тревожить нас по ночам. Однажды даже тот разъезд, в котором я участвовал, собрался на свой риск и страх выбить немцев из одного фольварка. В военном совете приняли участие все унтер-офицеры. Разведка открыла удобные подступы. Какой-то старик, у которого немцы увели корову и даже стащили сапоги с ног, он был теперь обут в рваные галоши, — брался провести нас болотом во фланг. Мы все обдумали, рассчитали, и это было бы образцовое сражение, если бы немцы не ушли после первого же выстрела. Очевидно, у них была не застава, а просто наблюдательный пост. Другой раз, проезжая лесом, мы увидели пять невероятно грязных фигур, с винтовками, выходящих из густой заросли. Это были наши пехотинцы, больше месяца тому назад отбившиеся от своей части и оказавшиеся в пределах неприятельского расположения. Они не потерялись: нашли чащу погуще, вырыли там яму, накрыли хворостом, с помощью последней спички развели чуть тлеющий огонек, чтобы нагревать свое жилище и растаивать в котелках снег, и стали жить Робинзонами, ожидая русского наступления. Ночью поодиночке ходили в ближайшую деревню, где в то время стоял какой-то германский штаб. Жители давали им хлеба, печеной картошки, иногда сала. Однажды один не вернулся. Они целый день провели голодные, ожидая, что пропавший под пыткой выдаст их убежище и вот-вот придут враги. Однако ничего не случилось: германцы ли попались совестливые или наш солдатик оказался героем — неизвестно. Мы были первыми русскими, которых они увидели. Прежде всего они попросили табаку. До сих пор они курили растертую кору и жаловались, что она слишком обжигает рот и горло. Вообще такие случаи не редкость: один казак божился мне, что играл с немцами в двадцать одно. Он был один в деревне, когда туда зашел сильный неприятельский разъезд. Удирать было поздно. Он быстро расседлал свою лошадь, запрятал седло в солому, сам накинул на себя взятый у хозяина зипун, и вошедшие немцы застали его усердно молотящим в сарае хлеб. В его дворе, был оставлен пост из трех человек. Казаку захотелось поближе посмотреть на германцев. Он вошел в халупу и нашел их играющими в карты. Он присоединился к играющим и за час выиграл около десяти рублей. Потом, когда пост сняли и разъезд ушел, он вернулся к своим. Я его спросил, как ему понравились германцы. «Да, ничего, — сказал он, — только играют плохо, кричат, ругаются, все отжилить думают. Когда я выиграл, хотели меня бить, да я не дался». Как это он не дался, мне не пришлось узнать: мы оба торопились.

Последний разъезд был особенно богат приключениями. Мы долго ехали лесом, поворачивая с тропинки на тропинку, объехали большое озеро и совсем не были уверены, что у нас в тылу не осталось какой-нибудь неприятельской заставы. Лес кончался кустами, дальше была деревня. Мы выдвинули дозоры справа и слева, сами стали наблюдать за деревней. Есть там немцы, или нет — вот вопрос. Понемногу мы стали выдвигаться из кустов — все спокойно. Деревня была уже не более чем в двухстах шагах, как оттуда без шапки выскочил житель и бросился к нам, крича: «Германи, германи, их много... бегите!» И сейчас же раздался залп. Житель упал и перевернулся несколько раз, мы вернулись в лес. Теперь все поле перед деревней закишело германцами. Их было не меньше сотни. Надо было уходить, но наши дозоры еще не вернулись. С левого фланга тоже слышалась стрельба, и вдруг в тылу у нас раздалось несколько выстрелов. Это было хуже всего! Мы решили, что окружены, и обнажили шашки, чтобы, как только подъедут дозорные, пробиваться в конном строю. Но к счастью, мы скоро догадались, что в тылу никого нет, это просто рвутся разрывные пули, ударяясь в стволы деревьев. Дозорные справа уже вернулись. Они задержались, потому что хотели подобрать предупредившего нас жителя, но

увидели, что он убит — прострелен время пулями в голову и в спину. Наконец прискакал и левый дозорный. Он приложил руку к козырьку и молодцевато отпортовал офицеру: «Ваше сиятельство, германец наступает слева... и я ранен». На его бедре виднелась кровь. «Можешь сидеть в седле?» — спросил офицер. «Так точно, пока могу!» — «А где же другой дозорный?» — «Не могу знать; кажется, он упал». — Офицер повернулся ко мне: «Гумилев, поезжайте посмотрите, что с ним?» Я отдал честь и поехал прямо на выстрелы. Собственно говоря, я подвергался не большей опасности, чем оставаясь на месте: лес был густой, немцы стреляли не видя нас, и пули летели всюду: самое большее — я мог наскочить на их передовых. Все это я знал, но ехать все-таки было очень неприятно. Выстрелы становились все слышнее, до меня доносились даже крики врагов. Каждую минуту я ожидал увидеть изуродованный разрывной пулей труп несчастного дозорного и, может быть, таким же изуродованным остаться рядом с ним — частые разъезды уже расшатали мои нервы. Поэтому легко представить мою ярость, когда я увидел пропавшего улана на короточках, преспокойно копошащегося около убитой лошади. «Что ты здесь делаешь?» — «Лошадь убили... седло снимаю». — «Скорей иди, такой-сякой, тебя весь разъезд под пулями дожидается». — «Сейчас, сейчас, я вот только белью достану. — Он подошел ко мне, держа в руках небольшой сверток. — Вот, поддержите, пока я вспрыгну на вашу лошадь, пешком не уйти, немец близко». Мы поскакали, провожаемые пулями, и он все время вздыхал у меня за спиной: «Эх, чай позабыл! Эх, жалость, хлеб остался!» Обратно доехали без приключений. Раненый после перевязки вернулся в строй, надеясь получить Георгия. Но мы все часто вспоминали убитого за нас поляка и, когда заняли эту местность, поставили на месте его смерти большой деревянный крест.

Русская пехота

Глава 8

Поздно ночью или рано утром во всяком случае, было еще совсем темно, — в окно халупы, где я спал, постучали: седлать по тревоге. Первым моим движением было натянуть сапоги, вторым — пристегнуть шашку и надеть фуражку. Мой арихмед — в кавалерии вестовых называют арихмедами, испорченное риткнехт, — уже седлал наших коней. Я вышел на двор и прислушался. Ни ружейной перестрелки, ни неперемного спутника ночных тревог, стука пулемета, ничего не было слышно. Озабоченный вахмистр, пробегаая, крикнул мне, что немцев только что выбили из местечка С. и они поспешно отступают по шоссе; мы их будем преследовать. От радости я, проделав несколько пируэтов, что меня, кстати, и согрело. Но, увы, преследование вышло не совсем таким, как я думал. Едва мы вышли на шоссе, нас остановили и заставили ждать час — еще не собрались полки, действовавшие совместно с нами. Затем продвинулись верст на пять и снова остановились. Начала действовать наша артиллерия. Как мы сердились, что она нам загораживает дорогу. Только позже мы узнали, что наш начальник дивизии придумал хитроумный план — вместо обычного преследования и захвата нескольких отсталых повозок врезываться клином в линию отходящего неприятеля и тем вынуждать его к более поспешному отступлению. Пленные потом говорили, что мы наделали немцам много вреда и заставили их откатиться верст на тридцать дальше, чем предполагалось, потому что в отступающей армии легко сбить с толку не только солдат, но даже высшее начальство. Но тогда мы этого не знали и продвигались медленно, негодую на самих себя за эту медленность. От передовых разъездов к нам приводили пленных. Были они хмурые, видимо, потрясенные своим отступлением. Кажется, они думали, что идут прямо на Петроград. Однако честь отдавали отчетливо не только офицерам, но и унтер-офицерам и, отвечая, вытягивались в струнку. В одной халупе, около которой мы стояли, хозяин с наслаждением, хотя, очевидно, в двадцатый раз, рассказывал про немцев: один и тот же немецкий фельдфебель останавливался у него и при наступлении и при отступлении. Первый раз он все время бахвалился победой и повторял: «Русс капут, русс капут!» Второй раз он явился в одном сапоге, стащил недостающий прямо с ноги хозяина и на его вопрос: «Ну, что же, русс капут?» ответил с чисто немецкой добросовестностью: «Не-не-не! Не капут!» Уже поздно вечером мы свернули с шоссе, чтобы ехать на бивак в назначенный нам район. Вперед, как всегда, отправились квартирьеры. Как мы мечтали о биваке! Еще днем мы узнали, что жители сумели попрятать масло и сало и на радостях охотно продавали русским солдатам. Вдруг впереди послышалась стрельба. Что такое? Это не по аэроплану — аэропланы ночью не летают, это, очевидно, неприятель. Мы осторожно въехали в назначенную нам деревню, а прежде въезжали с песнями, спешили, и вдруг из темноты к нам бросилась какая-то фигура в невероятно грязных лохмотьях. В ней мы узнали одного из наших квартирьеров. Ему дали хлебнуть мадеры, и он, немного успокоившись, сообщил нам следующее: с версту от деревни расположена большая барская усадьба. Квартирьеры спокойно въехали в нее и уже завели разговоры с управляющим об овсе и сараях, когда грянул залп. Немцы, стреляя, высказывали из дома, высовывались в окна, подбегали к лошадям. Наши бросились к воротам, ворота были уже захлопнуты. Тогда оставшиеся в живых, кое-кто уже попадал, оставили лошадей и побежали в сад. Рассказчик наткнулся на каменную стену в сажень вышиной с верхушкой, усыпанной битым стеклом. Когда он почти влез на нее, его за ногу ухватил немец. Свободной ногой, обутой в тяжелый сапог, да со шпорой вдобавок, он ударил врага прямо в лицо, тот упал как сноп. Соскочив на ту сторону, ободранный, расшибшийся улан потерял направление и побежал прямо перед собой. Он был в самом центре неприятельского расположения. Мимо него проезжала кавалерия, пехота устраивалась на ночь. Его спасли только темнота и обычное во время отступления замешательство, следствие нашего ловкого маневра, о котором я писал выше. Он был, по его собственному признанию, как пьяный и понял свое положение только тогда, когда, подойдя к костру, увидел около него человек двадцать немцев. Один из них даже обратился к нему с каким-то вопросом. Тогда он повернулся, пошел в обратном направлении и таким образом наткнулся на нас.

Пулемёт стал одной из решающих технологий во время Первой мировой. Британский пулемет «Виккерс» на Западном фронте

Выслушав этот рассказ, мы призадумались. О сне не могло быть и речи, да к тому же лучшая часть нашего бивака была занята немцами. Положение осложнялось еще тем, что в деревню вслед за нами тоже на бивак въехала наша артиллерия. Гнать ее назад, в поле, мы не могли да и не имели права. Ни один рыцарь так не беспокоится о судьбе своей дамы, как кавалерист о безопасности артиллерии, находящейся под его прикрытием. То, что он может каждую минуту ускользнуть, заставляет его оставаться на своем посту до конца. У нас оставалась слабая надежда, что в именье перед нами был только небольшой немецкий разъезд. Мы спешили и пошли на него цепью. Но нас встретил такой сильный ружейный и пулеметный огонь, какой могли развить по крайней мере несколько рот пехоты. Тогда мы залегли перед деревней, чтобы не пропускать хоть разведчиков, могущих обнаружить нашу артиллерию. Лежать было скучно, холодно и страшно. Немцы, обозленные своим отступлением, поминутно стреляли в нашу сторону, а ведь известно, что шальные пули — самые опасные. Перед рассветом все стихло, а когда на рассвете наш разъезд вошел в усадьбу, там не было никого. За ночь почти все квартирьеры вернулись. Не хватало трех, двое очевидно попали в плен, а труп третьего был найден на дворе усадьбы. Бедняга, он только что прибыл на позиции из запасного полка и все говорил, что будет убит. Был он красивый, стройный, отличный наездник. Его револьвер валялся около него, а на теле, кроме огнестрельной, было несколько штыковых ран. Видно было, что он долго защищался, пока не был приколот. Мир праху твоему, милый товарищ! Все из нас, кто мог, пришли на твои похороны! В этот день наш эскадрон был

новым эскадрон колонны и наш взвод — передовым разъездом. Я всю ночь не спал, но так велик подъем наступления, что я чувствовал себя совсем бодрым. Я думаю, что на заре человечества люди так же жили нервами, творили много и умирали рано. Мне с трудом верится, чтобы человек, который каждый день обедает и каждую ночь спит, мог вносить что-нибудь в сокровищницу культуры духа. Только пост и бдение, даже если они невольные, пробуждают в человеке особые, дремавшие прежде силы. Наш путь лежал через имение, где накануне обстреляли наших квартирьеров. Там офицер, начальник другого разъезда, допрашивал о вчерашнем управляющего, рыжего, с бегающими глазами, неизвестной национальности. Управляющий складывал руки ладошками и клялся, что не знает, как и когда у него очутились немцы, офицер горячился и напирал на него своим конем. Наш командир разрешил вопрос, сказав допрашивающему: «Ну его к черту, в штабе разберут. Поедем дальше!» Дальше мы осмотрели лес, в нем никого не оказалось, поднялись на бугор, и дозорные донесли, что в фольварке напротив неприятель. Фольварков в конном строю — атаковать не приходится: перестреляют; мы спешили и только что хотели начать перебежку, как услышали частую пальбу. Фольварк уже был атакован раньше нас подоспевшим гусарским разъездом. Наше вмешательство было бы нетактичным, нам оставалось лишь наблюдать за боем и жалеть, что мы опоздали.

Бельгийский пулемётчик

Глава 9

Бой длился недолго. Гусары бойко делали перебежку и уже вошли в фольварк. Часть немцев сдалась, часть бежала, их ловили в кустах. Гусар, детина огромного роста, конвоировавший человек десять робко жавшихся пленных, увидел нас и взмолился к нашему офицеру: «Ваше благородие, примите пленных, а я назад побегу, там еще немцы есть». Офицер согласился. «И винтовки сохраните, ваше благородие, чтобы никто не растащил», — просил гусар. Ему обещали, и это потому, что в мелких кавалерийских стычках сохраняется средневековый обычай, что оружие побежденного принадлежит его победителю. Вскоре нам привели еще пленных, потом еще и еще. Всего в этом фольварке забрали шестьдесят семь человек настоящих пруссаков действительной службы вдобавок, а забирающих было не больше двадцати. Когда путь был расчищен, мы двинулись дальше. В ближайшей деревне нас встретили старообрядцы, колонисты. Мы были первыми русскими, которых они увидели после полуторамесячного германского плена. Старики пытались целовать наши руки, женщины выносили крынки молока, яйца, хлеб и с негодованием отказывались от денег, белобрысы ребятишки глазели на нас с таким интересом, с каким вряд ли глазели на немцев. И приятнее всего было то, что все говорили на чисто русском языке, какого мы давно не слышали. Мы спросили, давно ли были немцы. Оказалось, что всего полчаса тому назад ушел немецкий обоз и его можно было бы догнать. Но едва мы решили сделать это, как к нам подскочил посланный от нашей колонны с приказанием остановиться. Мы стали упрашивать офицера притвориться, что он не слышал этого приказа, но в это время примчался второй посланный, чтобы подтвердить категорическое приказание ни в каком случае не двигаться дальше. Пришлось покориться. Мы нарубили шашками еловых ветвей и, улегшись на них, принялись ждать, когда закипит чай в котелках. Скоро к нам подтянулась и вся колонна, а с нею пленные, которых было уже около девятисот человек. И вдруг над этим сборищем всей дивизии, когда все обменивались впечатлениями и делились хлебом и табаком, раздался характерный вой шрапнели и неразорвавшийся снаряд грохнулся прямо среди нас. Послышалась команда: «По коням! Садись!» И, как осенью стая дроздов вдруг срывается с густых ветвей рябины и летит, шумя и щебеча, так помчались и мы, больше всего боясь оторваться от своей части. А шрапнель все неслась и неслась. На наше счастье почти ни один снаряд не разорвался (и немецкие заводы подчас работают скверно), но они летели так низко, что прямо-таки прорезывали наши ряды. Несколько минут мы скакали через довольно большое озеро, лед трещал и расходился звездами, и я думаю, у всех была лишь одна молитва, чтобы он не подломился.

Когда мы проскакали озеро, стрельба стихла. Мы построили взводы и вернулись обратно. Там нас ожидал эскадрон, которому было поручено стеречь пленных. Оказывается, он так и не двинулся с места, боясь, что пленные разбегутся, и справедливо рассчитав, что стрелять будут по большей массе скорее, чем по меньшей. Мы стали считать потери — их не оказалось. Был убит только один пленный и легко поранена лошадь. Однако нам приходилось призадуматься. Ведь нас обстреливали с фланга. А если у нас с фланга оказалась неприятельская артиллерия, то значит мешок, в который мы попали, был очень глубок. У нас был шанс, что немцы не сумеют использовать его, потому что им надо отступать под давлением пехоты. Во всяком случае, надо было узнать, есть ли для нас отход, и если да, то закрепить его за собою. Для этого были посланы разъезды, с одним из них поехал и я. Ночь была темная, и дорога лишь смутно белела в чаще леса. Кругом было неспокойно. Шарахались лошади без всадников, далеко была слышна перестрелка, в кустах кто-то стонал, но нам было не до того, чтобы его подбирать. Неприятная вещь — ночная разведка в лесу. Так и кажется, что из-за каждого дерева на тебя направлен и сейчас ударит широкий штык. Совсем неожиданно и сразу разрушив тревожность ожидания, послышался окрик: «Wer ist da?» — и раздалось несколько выстрелов. Моя винтовка была у меня в руках, я выстрелил не целясь, все равно ничего не было видно, то же сделали мои товарищи. Потом мы повернули и отскакали сажен двадцать назад. «Все ли тут?» — спросил я. Послышались голоса: «Я тут»; «Я тоже тут, остальные не знаю». Я сделал переключку, — оказались все. Тогда мы стали обдумывать, что вам делать. Правда, нас обстреляли, но это легко могла оказаться не застава, а просто партия отсталых пехотинцев, которые теперь уже бегут сломя голову, спасаясь от нас. В этом предположении меня укрепляло еще то, что я слышал треск сучьев по лесу, посты не стали бы так шуметь. Мы повернули и поехали по старому направлению. На том месте, где у нас была перестрелка, моя лошадь начала храпеть и жаться в сторону от дороги. Я соскочил и, пройдя несколько шагов, наткнулся на лежащее тело. Блеснув электрическим фонариком, я заметил расщепленную пулей каску под залитым кровью лицом, а дальше — синевато-серую шинель. Все было тихо. Мы оказались правы в своем предположении. Мы проехали еще верст пять, как нам было указано, и, вернувшись, доложили, что дорога свободна. Тогда нас поставили на бивак, но какой это был бивак! Лошадей не расседывали, отпустили только подпруги, люди спали в шинелях и сапогах. А наутро разъезды донесли, что германцы отступили и у нас на флангах наша пехота.

Депутация 8-го уланского Вознесенского полка. 1914 год

Глава 10

Третий день наступления начался смутно. Впереди все время слышалась перестрелка, колонны то и дело останавливались, повсюду посылались разъезды. И поэтому особенно радостно нам было увидеть выходящую из лесу пехоту, которой мы не встречали уже несколько дней. Оказалось, что мы, идя с севера, соединились с войсками, наступавшими с юга. Бесчисленные новые роты появлялись одна за другой, чтобы через несколько минут расплыться среди перелесков к бугров. И их присутствие доказывало, что погоня

кончилиась, что враг останавливается и подходит бой. Наш разъезд должен был разведать путь для одной из наступающих рот и потом охранять ее фланг. По дороге мы встретились с драгунским разъездом, которому была дана почти та же задача, что и нам. Драгунский офицер был в разодранном сапоге — след немецкой пики — он накануне ходил в атаку. Впрочем, это было единственное повреждение, полученное нашими, а немцев порубили человек восемь. Мы быстро установили положение противника, то есть ткнулись туда и сюда и были обстреляны, а потом спокойно поехали на фланг, подумывая о вареной картошке и чае. Но едва мы выехали из леса, едва наш дозорный поднялся на бугор, из-за противоположного бугра грянул выстрел. Мы вернулись в лес, все было тихо. Дозорный опять показался из-за бугра, опять раздался выстрел, на этот раз пуля оцарапала ухо лошади. Мы спешили, вышли на опушку и стали наблюдать. Понемногу из-за холма начала показываться германская каска, затем фигура всадника — в бинокль я разглядел большие светлые усы. «Вот он, вот он, черт с рогом», — шептали солдаты. Но офицер ждал, чтобы германцев показалось больше, что пользы стрелять по одному. Мы брали его на прицел, разглядывали в бинокль, гадали об его общественном положении. Между тем приехал улан, оставленный для связи с пехотой, доложил, что она отходит. Офицер сам поехал к ней, а нам предоставил поступать с немцем по собственному усмотрению. Оставшись одни, мы прицелились кто с колена, кто положив винтовку на сучья, и я скомандовал: «Взвод, пли!» В тот же миг немец скрылся, очевидно упал за бугор. Больше никто не показывался. Через пять минут я послал двух улан посмотреть, убит ли он, и вдруг мы увидели целый немецкий эскадрон, приближающийся к нам под прикрытием бугров. Тут уже без всякой команды поднялась ружейная трескотня. Люди выскакивали на бугор, откуда было лучше видно, ложились и стреляли безостановочно. Странно, нам даже в голову не приходило, что немцы могут пойти в атаку. И действительно, они повернули и врассыпную бросились назад. Мы провожали их огнем и, когда они поднимались на возвышенности, давали правильные залпы. Радостно было смотреть, как тогда падали люди, лошади, а оставшиеся переходили в карьер, чтобы скорее добраться до ближайшей лощины. Между тем два улана привезли каску и винтовку того немца, по которому мы дали наш первый залп. Он был убит наповал.

1913 год. Парад 8-му Вознесенскому уланскому полку в Петергофе в высочайшем присутствии

Позади нас бой разгорался. Трещали винтовки, гремели орудийные разрывы, видно было, что там горячее дело. Поэтому мы не удивились, когда влево от нас лопнула граната, взметнув облако снега и грязи, как бык, с размаха ткнувшийся рогами в землю. Мы только подумали, что поблизости лежит наша пехотная цепь. Снаряды рвались все ближе и ближе, все чаще и чаще, мы нисколько не беспокоились, и только подъехавший, чтобы увести нас, офицер сказал, что пехота уже отошла и это обстреливают именно нас. У солдат сразу просветлели лица. Маленькому разъезду очень лестно, когда на него тратят тяжелые снаряды. По дороге мы увидели наших пехотинцев, угрюмо выходящих из леса и собирающихся кучками.

— Что, земляки, отходите? — спросил их я.

— Приказывают, а нам что? — хоть бы и не отходить... что мы позади потеряли, — недовольно заворчали они. Но бородатый унтер рассудительно заявил:

— Нет, это начальство правильно рассудило. Много очень германца-то. Без окопов не сдержать. А вот отойдем к окопам, так там видно будет.

В это время с нашей стороны показалась еще одна рота.

«Братцы, к нам резерв подходит, продержимся еще немного», — крикнул пехотный офицер. «И то», — по прежнему рассудительно сказал унтер и, скинув с плеча винтовку, зашагал обратно в лес. Зашагали и остальные. В донесениях о таких случаях говорится: под давлением превосходных сил противника наши войска должны были отойти. Дальний тыл, прочтя, пугается, но я знаю, видел своими глазами, как просто и спокойно совершаются такие отходы. Немного дальше мы встретили, окруженного своим штабом, командира пехотной дивизии, красивого седовласого старика с бледным, утомленным лицом. Уланы развздохались: «Седой какой, в дедушки нам годится». Нам, молодым, война так, заместо игры, а вот старым плохо». Сборный пункт был назначен в местечке С. По нему так и сыпались снаряды, но германцы, как всегда, избрали мишенью костел, и стоило только собираться на другом конце, чтобы опасность была сведена к минимуму. Со всех сторон съезжались разъезды, подходили с позиций эскадроны. Пришедшие раньше варили картошку, кипятили чай. Но воспользоваться этим не пришлось, потому что нас построили в колонну и вывели на дорогу. Спустилась ночь, тихая, синяя, морозная. Зыбко мерцали снега. Звезды словно просвечивали сквозь стекло. Нам пришел приказ остановиться и ждать дальнейших распоряжений. И пять часов мы стояли на дороге. Да, эта ночь была одной из самых трудных в моей жизни. Я ел хлеб со снегом, сухой он не пошел бы в горло; десятки раз бегал вдоль своего эскадрона, но это больше утомляло, чем согревало; пробовал греться около лошади, но ее шерсть была покрыта ледяными сосульками, а дыханье застывало, не выходя из ноздрей. Наконец, я перестал бороться с холодом, остановился, засунул руки в карманы, поднял воротник и с тупой напряженностью начал смотреть на чернеющую изгородь и дохлую лошадь, ясно сознавая, что замерзаю. Уже сквозь сон я услышал долгожданную команду: «К коням... садись». Мы проехали версты две и вошли в маленькую деревушку. Здесь можно было наконец согреться. Едва я очутился в халупе, как лег, не сняв ни винтовки, ни даже фуражки, и заснул мгновенно, словно сброшенный на дно самого глубокого, самого черного сна. Я проснулся со страшной болью в глазах и шумом в голове, оттого что мои товарищи, пристегивая шашки, толкали меня ногами: «Тревога! Сейчас выезжаем». Как лунатик, ничего не соображая, я поднялся и вышел на улицу. Там трещали пулеметы, люди садились на коней. Мы опять выехали на дорогу и пошли рысью. Мой сон продолжался ровно полчаса. Мы ехали всю ночь на рысях, потому что нам надо было сделать до рассвета пятьдесят верст, чтобы оборонять местечко К. на узле шоссейных дорог. Что это была за ночь! Люди засыпали в седлах, и никем не управляемые лошади выбегали вперед, так что сплошь и рядом приходилось просыпаться в чужом эскадроне.

Низко нависшие ветви хлестали по глазам и сбрасывали с головы фуражку. Порой возникали галлюцинации. Так, во время одной из остановок, я, глядя на крутой, запорошенный снегом откос, целых десять минут был уверен, что мы въехали в какой-то большой город, что передо мной трехэтажный дом с окнами, с балконами, с магазинами внизу. Несколько часов подряд мы скакали лесом. В тишине, разбиваемой только стуком копыт да храпом коней, явственно слышался отдаленный волчий вой. Иногда, чуя волка, лошади начинали дрожать всем телом и становились на дыбы. Эта ночь, этот лес, эта нескончаемая белая дорога казались мне сном, от которого невозможно проснуться. И все же чувство странного торжества переполняло мое сознание. Вот мы, такие голодные, измученные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем навстречу новому бою, потому что нас принуждает к этому дух, который так же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его. И в такт лошадиной рыси в моем уме плясали ритмические строки:

Расцветает дух, как роза мая,

Как огонь, он разрывает тьму,

Тело, ничего не понимая,

Слепо повинуется ему.

Мне чудилось, что я чувствую душный аромат этой розы, вижу красные языки огня. Часов в десять утра мы приехали в местечко К. Сперва стали на позицию, но вскоре, оставив караулы и дозорных, разместились по халупам. Я выпил стакан чаю, поел картошки и, так как все не мог согреться, влез на печь, покрылся валявшимся там рваным армяком и, содрогнувшись от наслаждения, сразу заснул. Что мне снилось, я не помню, должно быть что-нибудь очень сумбурное, потому что я не слишком удивился, проснувшись от страшного грохота и кучи посыпавшейся на меня. известки. Халупа была полна дымом, который выходил в большую дыру в потолке прямо над моей головой. В дыру было видно бледное небо. «Ага, артиллерийский обстрел», — подумал я, и вдруг страшная мысль пронизала мой мозг и в одно мгновение сбросила меня с печи. Халупа была пуста, уланы ушли. Тут я действительно испугался. Я не знал, с каких пор я один, куда направились мои товарищи, очевидно не заметившие, как я влез на печь, и в чьих руках было местечко. Я схватил винтовку, убедился, что она заряжена, и выбежал из дверей. Местечко пылало, снаряды рвались там и сям. Каждую минуту я ждал увидеть направленные на меня широкие штыки и услышать грозный окрик: «Хальт!» Но вот я услышал топот и, прежде чем успел приготовиться, увидел рыжих лошадей, уланский разъезд. Я подбежал к нему и попросил подвезти меня до полка. Трудно было в полном вооружении вспрыгивать на круп лошади, она не стояла, напуганная артиллерийскими разрывами, но зато какая радость была сознавать, что я уже не несчастный, заблудившийся, а снова часть уланского полка, а следовательно, и всей русской армии. Через час я уже был в своем эскадроне, сидел на своей лошади, рассказывал соседям по строю мое приключение. Оказалось, что неожиданно пришло приказание очистить местечко и отходить верст за двадцать на бивак. Наша пехота зашла наступающим немцам во фланг, и чем дальше они продвинулись бы, тем хуже было бы для них. Бивак был отличный, халупы просторные, и первый раз за много дней мы увидели свою кухню и поели горячего супа.

Глава 11

Как-то утром вахмистр сказал мне: «Поручик Ч. едет в дальний разъезд, проситесь с ним», Я послушался, получил согласие и через полчаса уже скакал по дороге рядом с офицером. Тот на мой вопрос сообщил мне, что разъезд действительно дальний, но что, по всей вероятности, мы скоро наткнемся на немецкую заставу и принуждены будем остановиться. Так и случилось. Проехав верст пять, головные дозоры заметили немецкие каски и, подкравшись пешком, насчитали человек тридцать. Сейчас же позади нас была деревня, довольно благоустроенная, даже с жителями. Мы вернулись в нее, оставив наблюденье, вошли в крайнюю халупу и, конечно, поставили вариться традиционную во всех разъездах курицу. Это обыкновенно берет часа два, а я был в боевом настроении. Поэтому я попросил у офицера пять человек, чтобы попробовать пробраться в тыл немецкой заставе, пугнуть ее, может быть захватить пленных. Предприятие было не безопасное, потому что если я оказывался в тылу у немцев, то другие немцы оказывались в тылу у меня. Но предприятием заинтересовались два молодые жителя, и они обещали кружной дорогой подвести нас к самым немцам. Мы все обдумали и поехали сперва задворками, потом низиной по грязному талому снегу. Жители шагали рядом с нами. Мы проехали ряд пустых окопов, великолепных, глубоких, выложенных мешками с песком. В одиноком фольварке старик все звал нас есть яичницу, он выселялся и ликвидировал своё хозяйство и на вопрос о немцах отвечал, что за озером с версту расстояния стоит очень много, очевидно несколько эскадронов кавалерии. Дальше мы увидели проволочное заграждение, одним концом упершееся в озеро, а другим уходящее Я оставил человека у проезда через проволочное заграждение, приказал ему стрелять в случае тревоги, с остальными отправился дальше. Тяжело было ехать, оставляя за собой такую преграду с одним только проездом, который так легко было загородить рогатками. Это мог сделать любой немецкий разъезд, а они крутились поблизости, это говорили и зрители, видевшие их полчаса тому назад. Но нам слишком хотелось обстрелять немецкую заставу.

Русская пехота 1914–1918 гг.

Вот мы въехали в лес, мы знали, что он не широк и что сейчас за ним немцы. Они нас не ждут с этой стороны, наше появление произведет панику. Мы уже сняли винтовки, и вдруг в полной тишине раздался отдаленный звук выстрела. Громовой залп испугал бы нас менее. Мы переглянулись. «Это у проволоки», — сказал кто-то, мы догадались и без него. «Ну, братцы, залп по лесу и айда назад... авось поспеем!» — сказал я. Мы дали залп и повернули коней. Вот это была скачка! Деревья и кусты проносились перед нами, комья снега так и летели из-под копыт, баба с ведром в руке у речки глядела на нас с разинутым от удивления ртом. Если бы мы нашли проезд задвинутым, мы бы погибли. Немецкая кавалерия переловила бы нас в полдня. Вот и проволочное заграждение — мы увидели его с холма. Проезд открыт, но наш улан уже на той стороне и стреляет куда-то влево. Мы взглянули туда и сразу пришпорили коней. Наперерез нам скакало десятка два немцев. От проволоки они были на том же расстоянии, что и мы. Они поняли, в чем наше спасение, и решили преградить нам путь. «Пики к бою, шашки вон!» — скомандовал я, и мы продолжали нестись. Немцы орали и вертели пики над головой. Улан, бывший на той стороне, подцепил рогатку, чтобы загородить проезд, едва мы проскачем. И мы действительно проскакали. Я слышал тяжелый храп и стук копыт передовой немецкой лошади, видел всклокоченную бороду и грозно поднятую пику ее всадника. Опоздай мы на пять секунд, мы бы сшиблись. Но я проскочил за проволоку, а он с размаху промчался мимо. Рогатка, брошенная нашим уланом, легла криво, но немцы все же не решились выскочить за проволочное заграждение и стали спешиваться, чтобы открыть по нам стрельбу. Мы, разумеется, не стали их ждать и низиной вернулись обратно. Курица уже сварилась и была очень вкусна. К вечеру к нам подъехал ротмистр со всем эскадроном. Наш наблюдательный разъезд развертывался в сторожевое охранение, и мы, как проработавшие весь день остались на главной заставе.

Ночь прошла спокойно. Наутро запел телефон, и нам сообщили из штаба, что с наблюдательного пункта замечен немецкий разъезд, направляющийся в нашу сторону. Стоило посмотреть на наши лица, когда телефонист сообщил нам об этом. На них не дрогнул ни один мускул. Наконец ротмистр заметил: «Следовало бы еще чаю скипятить». И только тогда мы рассмеялись, поняв всю неестественность нашего равнодушия. Однако немецкий разъезд давал себя знать. Мы услышали частую перестрелку слева, и от одного из постов приехал улан с донесением, что им пришлось отойти. «Пусть попробуют вернуться на старое место, — приказал ротмистр, — если не удастся, я

пришла подкрепление». Стрельба усилилась, и через час-другой посланный сообщил, что немцы отбиты и пост вернулся. «Ну, и слава Богу, не к чему было и поднимать такую бучу!» — последовала резолюция. Во многих разъездах я участвовал, но не припомню такого тяжелого, как разъезд корнета князя К., в один из самых холодных мартовских дней. Была метель, и ветер дул прямо на нас. Обмерзшие хлопья снега резали лицо, как стеклом, и не позволяли открыть глаз. Сослепу мы въехали в разрушенное проволочное заграждение, и лошади начали прыгать и метаться, чувствуя уколы. Дорог не было, всюду лежала сплошная белая пелена. Лошади шли чуть не по брюхо в снегу, проваливаясь в ямы, натываясь на изгороди. И вдобавок нас каждую минуту могли обстрелять немцы. Мы проехали таким образом верст двадцать. Под конец остановились. Взвод остался в деревне; вперед, чтобы обследовать соседние фольварки, было выслано два унтер-офицерских разъезда. Один из них повел я. Жители определенно говорили, что в моем фольварке немцы, но надо было в этом удостовериться. Местность была совершенно открытая, подступов никаких, и поэтому мы широкой цепью медленно направились прямо на фольварк. Шагах в восьмистах остановились и дали залп, потом другой. Немцы крепились, не стреляли, видимо, надеялись, что мы подъедем ближе. Тогда я решился на последний опыт — симуляцию бегства. По моей команде мы сразу повернули и помчались назад, как будто заметив врага. Если бы нас не обстреляли, мы бы без опаски поехали в фольварк. К счастью, нас обстреляли. Другому разъезду менее посчастливилось. Он наткнулся на засаду, и у него убили лошадь. Потеря небольшая, но не тогда, когда находишься за двадцать верст от полка. Обратном мы ехали шагом, чтобы за нами мог поспеть пеший. Метель улеглась и наступил жестокий мороз. Я не догадался слезть и идти пешком, задремал и стал мерзнуть, а потом и замерзать. Было такое ощущение, что я, голый, сижу в ледяной воде. Я уже не дрожал, не стучал зубами, а только тихо и беспрерывно стонал. А мы еще не сразу нашли свой бивак и с час стояли, коченея, перед халупами, где другие уланы распивали горячий чай — нам было видно это в окна.

С этой ночи начались мои злоключения. Мы наступали, выбивали немцев из деревень, я тоже проделывал все это, но как во сне, то дрожа в ознобе, то сгорая в жару. Наконец после одной ночи, в течение которой я, не выходя из халупы, совершил по крайней мере двадцать обходов и пятнадцать побегов из плена, я решил смерить температуру. Градусник показал 38,7. Я пошел к полковому доктору. Доктор велел каждые два часа мерить температуру и лечь, а полк выступал. Я лег в халупе, где оставались два телефониста, но они помещались с телефоном в соседней комнате, и я был один. Днем в халупу зашел штаб казачьего полка, и командир угостил меня мадерой с бисквитами. Он через полчаса ушел, и я опять задремал. Меня разбудил один из телефонистов: «Германцы наступают, мы сейчас уезжаем!» Я спросил, где наш полк, они не знали. Я вышел на двор. Немецкий пулемет, его всегда можно узнать по звуку, стучал уже совсем близко. Я сел на лошадь и поехал прямо от него. Темнело. Вскоре я наехал на гусарский бивуак и решил здесь переночевать. Гусары напоили меня чаем, принесли мне соломы для спанья, одолжили даже какое-то одеяло. Я заснул, но в полночь проснулся, померил температуру, обнаружил у себя 39,1 и почему-то решил, что мне непременно надо отыскать свой полк. Тихонько встал, вышел, никого не будя, нашел свою лошадь и поскакал по дороге, сам не зная куда. Это была фантастическая ночь. Я пел, кричал, нелепо болтался в седле, для развлечения брал канавы и барьеры. Раз наскочил на наше сторожевое охранение и горячо убеждал солдат поста напасть на немцев. Встретил двух отбившихся от своей части конноартиллеристов. Они не сообразили, что я — в жару, заразились моим весельем и с полчаса скакали рядом со мной, оглашая воздух криками. Потом отстали. Наутро я совершенно неожиданно вернулся к гусарам. Они приняли во мне большое участие и очень выговаривали мне мою ночную эскападу. Весь следующий день я употребил на скитанья по штабам: сперва — дивизии, потом бригады и наконец — полка. И еще через день уже лежал на подводе, которая везла меня к ближайшей станции железной дороги. Я ехал на излечение в Петроград, Целый месяц после этого мне пришлось пролежать в постели.

Глава 12

Теперь я хочу рассказать о самом знаменательном дне моей жизни, о бое шестого июля 1915 г. Это случилось уже на другом, совсем новом для нас фронте. До того были у нас и перестрелки, и разъезды, но память о них тускнеет по сравнению с тем днем. Накануне зарядил затяжной дождь. Каждый раз, как надо было выходить из домов, он усиливался. Так усилился он и тогда, когда поздно вечером нас повели сменять сидевшую в окопах армейскую кавалерию. Дорога шла лесом, тропинка была узенькая, тьма — полная, не видно вытянутой руки. Если хоть на минуту отстать, приходилось скакать и наткаться на обвисшие ветви и стволы, пока, наконец, не наскочишь на круп передних коней. Не один глаз был подбит, и не одно лицо расцарапано в кровь.

На поляне — мы только ощупью определяли, что это поляна, — мы спешили. Здесь должны были остаться коноводы, остальные — идти в окоп. Пошли, но как? Вытянувшись гуськом и крепко вцепившись друг другу в плечи. Иногда кто-нибудь, наткнувшись на пенек или провалившись в канаву, отрывался, тогда задние ожесточенно толкали его вперед, и он бежал и окликал передних, беспомощно хватая руками мрак. Мы шли болотом и ругали за это проводника, но он был не виноват, наш путь действительно лежал через болото. Наконец, пройдя версты три, мы уткнулись в бугор, из которого к нашему удивлению начали вылезать люди. Это и были те кавалеристы, которых мы пришли сменить. Мы их спросили, каково им было сидеть. Озлобленные дождем, они молчали, и только один проворчал себе под нос: «А вот сами увидите, стреляет немец, должно быть утром в атаку пойдет». — «Типун тебе на язык, — подумали мы, — в такую погоду да еще атака!» Собственно говоря, окопа не было. По фронту тянулся острый хребет невысокого холма, и в нем был пробит ряд ячеек на одного-двух человек с бойницами для стрельбы. Мы забрались в эти ячейки, дали несколько залпов в сторону неприятеля и, установив наблюдение, улеглись подремать до рассвета. Чуть стало светать, нас разбудили: неприятель делает перебежку и окапывается, открыть частый огонь. Я взглянул в бойницу. Было серо, и дождь лил по-прежнему. Шагах в двух-трех передо мной копошился австриец, словно крот, на глазах уходящий в землю. Я выстрелил. Он присел в уже выкопанную ямку и взмахнул лопатой, чтобы показать, что я промахнулся. Через минуту он высунулся, я выстрелил снова и увидел новый взмах лопаты. Но после третьего выстрела уже ни он, ни его лопата больше не показались. Другие австрийцы тем временем уже успели закопаться и ожесточенно обстреливали нас. Я переполз в ячейку, где сидел наш корнет. Мы стали обсуждать создавшееся положение. Нас было полтора эскадрона, то есть человек восемьдесят, австрийцев раз в пять больше. Неизвестно, могли ли мы удержаться в случае атаки. Так мы болтали, тщетно пытаясь закурить подмоченные папиросы, когда наше внимание привлек какой-то странный звук, от которого вздрагивал наш холм, словно гигантским молотом ударяли прямо по земле. Я начал выглядывать в бойницу не слишком свободно, потому что в нее то и дело влетали пули, и наконец заметил на половине расстояния между нами и австрийцами разрывы тяжелых снарядов. «Ура! — крикнул я. — Это наша артиллерия кроет по их окопам». В тот же миг к нам просунулось нахмуренное лицо ротмистра. «Ничего подобного, — сказал он, — это их недолеты, они палят по нам. Сейчас бросятся в атаку. Нас обошли с левого фланга. Отходить к коням!» Корнет и я, как от толчка пружины, вылетели из окопа. В нашем распоряжении была минута или две, а надо было предупредить об отходе всех людей и послать в соседний эскадрон. Я побежал вдоль окопов, крича: «К коням... живо! Нас обходят!» Люди выскакивали, расстегнутые, ошеломленные, таща под мышкой лопаты и шашки, которые они было сбросили в окопе. Когда все вышли, я выглянул в бойницу и до нелепости близко увидел перед собой озабоченную физиономию усатого австрийца, а за ним еще других. Я выстрелил, не целясь, и со всех ног бросился

догонять моих товарищей.

Нам надо было пробежать с версту по совершенно открытому полю, превратившемуся в болото от непрерывного дождя. Дальше — был бугор, какие-то сараи, начинался редкий лес. Там можно было бы и отстреливаться и продолжать отход, судя по обстоятельствам. Теперь же, ввиду поминутно стреляющего врага, оставалось только бежать, и притом как можно скорее. Я нагнал моих товарищей сейчас же за бугром. Они уже не могли бежать и под градом пуль и снарядов шли тихим шагом, словно прогуливаясь. Особенно страшно было видеть ротмистра, который каждую минуту привычным жестом снимал пенсне и аккуратно протирал сыреющие стекла совсем мокрым носовым платком. За сараем я заметил корчившегося на земле улана. «Ты ранен?» — спросил я его. «Болен... живот схватило!» — простонал он в ответ. «Вот еще, нашел время болеть!» — начальническим тоном закричал я. — Беги скорей, тебя австрийцы приколют!» Он сорвался с места и побежал; после очень благодарил меня, но через два дня его увезли в холере. Вскоре на бугре показались и австрийцы. Они шли сзади шагах в двухстах и то стреляли, то махали нам руками, приглашая сдаться. Подходить ближе они боялись, потому что среди нас рвались снаряды их артиллерии. Мы отстреливались через плечо, не замедляя шага. Слева от меня из кустов послышался плачущий крик: «Уланы, братцы, помогите!» Я обернулся и увидел завязший пулемет, при котором остался только один человек из команды да офицер. «Возьмите кто-нибудь пулемет», — приказал ротмистр. Конец его слов был заглушен громовым разрывом снаряда, упавшего среди нас. Все невольно прибавили шагу. Однако в моих ушах все стояла жалоба пулеметного офицера, и я топнув ногой и обругав себя за трусость, быстро вернулся и схватился за ляжку. Мне не пришлось в этом раскаяться, потому что в минуту большой опасности нужнее всего какое-нибудь занятие. Солдат-пулеметчик оказался очень обстоятельным. Он болтал без перерыва, выбирая дорогу, вытаскивая свою машину из ям и отцепляя от корней деревьев. Не менее оживленно щелкал и я. Один раз снаряд грохнулся шагах в пяти от нас. Мы невольно остановились, ожидая разрыва. Я для чего-то стал считать — раз, два, три. Когда я дошел до пяти, я сообразил, что разрыва не будет. «Ничего на этот раз, везем дальше... что задерживаться?» — радостно объявил мне пулеметчик. И мы продолжали свой путь.

Кругом было не так благополучно. Люди падали, одни ползли, другие замирали на месте. Я заметил шагах в ста группу солдат, тащивших кого-то, но не мог бросить пулемета, чтобы поспешить им на помощь. Уже потом мне сказали, что это был раненый офицер нашего эскадрона. У него были прострелены нога и голова. Когда его подхватили, австрийцы открыли особенно ожесточенный огонь и переранили несколько несущих. Тогда офицер потребовал, чтобы его положили на землю, поцеловал и перекрестил бывших при нем солдат и решительно приказал им спастись. Нам всем было его жаль до слез. Он последний со своим взводом прикрывал общий отход. К счастью, теперь мы знаем, что он в плену и поправляется.

Глава 13

Наконец мы достигли леса и увидели своих коней. Пули летали и здесь, один из коноводов даже был ранен, но мы все вздохнули свободно, минут десять пролежали в цепи, дожидаясь, пока уйдут другие эскадроны, и лишь тогда сели на коней. Отходили мелкой рысью, грозя атакой наступавшему врагу. Наш тыльный дозорный ухитрился даже привезти пленного. Он ехал оборачиваясь, как ему и полагалось, и, заметив между стволов австрийца с винтовкой наперевес, бросился на него с обнаженной шашкой. Австриец уронил оружие и поднял руки. Улан заставил его подобрать винтовку — не пропадать же, денег стоит, — и, схватив за шиворот и пониже спины, перекинул поперек седла, как овцу. Встречным он с гордостью объявил: «Вот, георгиевского кавалера в плен взял, везу в штаб». Действительно, австриец был украшен каким-то крестом. Только подойдя к деревне, мы выпутались из австрийского леса и возобновили связь с соседями. Послали сообщить пехоте, что неприятель наступает превосходными силами, и решили держаться во что бы то ни стало до прибытия подкрепления. Цепь расположилась вдоль кладбища, перед ржаным полем, пулемет мы взгромоздили на дерево. Мы никого не видели и стреляли прямо перед собой в колеблющуюся рожь, поставив прицел на две тысячи шагов и постепенно опуская, но наши разезды, видевшие австрийцев, выходящих из леса, утверждали, что наш огонь нанес им большие потери. Пули все время ложились возле нас и за нами, выбрасывая столбики земли. Один из таких столбиков засорил мне глаз, который мне после долго пришлось протирать. Вечерело. Мы весь день ничего не ели и с тоской ждали новой атаки влптерю сильнейшего врага. Особенно удручающе действовала время от времени повторявшаяся команда: «Опустить прицел на сто!» Это значило, что на столько же шагов приблизился к нам неприятель.

Оборачиваясь, я позади себя сквозь сетку мелкого дождя и наступающие сумерки заметил что-то странное, как будто низко по земле стелилась туча. Или это был кустарник, но тогда почему же он оказывался все ближе и ближе? Я поделился своим открытием с соседями. Они тоже недоумевали. Наконец один дальнзоркий крикнул: «Это наша пехота идет!» — и даже вскочил от радостного волнения. Вскочили и мы, то сомневаясь, то веря и совсем забыв про пули. Вскоре сомненьям не было места. Нас захлестнула толпа невысоких, коренастых бородачей, и мы услышали ободряющие слова: «Что, братики, или туго пришлось? Ничего, сейчас все устроим!» Они бежали мерным шагом (так пробежали десять верст) и нисколько не запыхались, на бегу свертывали цыгарки, делились хлебом, болтали. Чувствовалось, что ходьба для них естественное состояние. Как я их любил в тот миг, как восхищался их грозной мощью! Вот уж они скрылись во ржи, и я услышал чей-то звонкий голос, кричавший: «Мирон, ты фланг-то загибай австрийцам!» «Ладно, загнем» — был ответ. Сейчас же грянула пальба пятисот винтовок. Они увидели врага. Мы послали за коноводами и собрались уходить, но я был назначен быть для связи с пехотой. Когда я приближался к их цепи, я услышал громовое ура. Но оно как-то сразу оборвалось, и разлетелись отдельные крики: «Лови, держи! Ай, уйдет!» — совсем как при уличном скандале. Неведомый мне Мирон оказался на высоте положения. Половина нашей пехоты под прикрытием огня остальных зашла австрийцам во фланг и отрезала полтора их батальона. Те сотнями бросали оружие и покорно шли в указанное им место, к группе старых дубов. Всего в этот вечер было захвачено восемьсот человек и кроме того возвращены утерянные вначале позиции. Вечером, после уборки лошадей, мы сошлись с вернувшимися пехотинцами. «Спасибо, братцы, — говорили мы, — без вас бы нам была крышка!» — «Неначем, — отвечали они, — как вы до нас-то держались? Ишь ведь их сколько было! Счастье ваше, что не немцы, а австрийцы». Мы согласились, что это действительно было счастье.

Штыковая атака французов

Глава 14

В те дни заканчивался наш летний отход. Мы отступали уже не от невозможности держаться, а по приказам, получаемым из штабов.

Иногда случалось, что после ожесточенного боя отступали обе стороны, и кавалерии потом приходилось восстанавливать связь с неприятелем. Так случилось и в тот великолепный, немного пасмурный, но теплый и благоуханный вечер, когда мы поседлали по тревоге и крупной рысью, порой галопом, помчались неизвестно куда, мимо полей, засеянных клевером, мимо хмелевых беседок и затихающих ульев, сквозь редкий сосновый лес, сквозь дикое, кочковатое болото. Бог знает как разнесся слух, что мы должны идти в атаку. Впереди слышался шум боя. Мы спрашивали встречных пехотинцев, кто наступает, немцы или мы, но их ответы заглушались стуком копыт и бряцаньем оружия. Мы спешили в перелеске, где уже рвались немецкие снаряды. Теперь мы знали, что нас прислали прикрывать отход нашей пехоты. Целые роты в полном порядке выходили из лесу, чтобы построиться на поляне позади нас. Офицеры старательно выкрикивали: «В ногу, в ногу!» Ждали командира дивизии, и все подтянулись, лихо заломили фуражки набекрень и даже выравнялись, совсем как на плацу. В это время наш разъезд привез известие, что мимо нас, верстах в трех, дефилирует немецкая пехота в составе одной бригады. Нами овладело радостное волнение. Пехота в походном порядке, не подозревающая о присутствии неприятельской кавалерии, — ее добыча. Мы видели, как наш командир подъехал к начальнику дивизии, офицеры говорили, что надо, чтобы пехота поддержала нас ружейным и пулеметным огнем. Однако из этих переговоров ничего не вышло. У начальника дивизии был категорический приказ отходить, и он не мог нас поддержать. Пехота ушла, немцев не было. Темнело. Мы шагом поехали на бивак и по дороге поджигали скирды хлеба, чтобы не оставался врагу. Жалко было подносить огонь к этим золотым грудам, жалко было топтать конями хлеб на корню, он никак не хотел загораться, но так весело было скакать потом, когда по всему полю, докуда хватал взгляд, зашевелились, замахали красными рукавами высокие костры, словно ослепительные китайские драконы, и послышалось иератическое бормотанье раздуваемого ветром огня.

Весь конец этого лета для меня связан с воспоминанием об освобожденном и торжествующем пламени. Мы прикрывали общий отход и перед носом немцев поджигали все, что могло гореть: хлеб, сараи, пустые деревни, помещичьи усадьбы и дворцы. Да, и дворцы. Однажды нас перебросили верст за тридцать на берег Буга. Там совсем не было наших войск, но не было и немцев, а они могли появиться каждую минуту. Мы с восхищением обзоредали еще не затронутую войной местность. Те из нас, что были прожорливее других, отправились поужинать у беженцев гусей, поросят и вкусный домашний сыр, те, что были почистоплотнее, принялись купаться на отличной, песчаной отмели. Последние прогадали. Им пришлось спасаться нагишом, таща в руках свою одежду, под выстрелами неожиданно показавшегося на той стороне немецкого разъезда. На берег были высланы цепь стрелков и разъезд на случай, если понадобится переправляться. С лесистого пригорка нам отлично было видно деревню на том берегу реки. Перед ней уже кружили наши разъезды. Но вот оттуда послышалась частая стрельба, и всадники карьером понеслись назад через реку, так что вода поднялась белым клубом от напора лошадей. Тот край деревни был занят, нам следовало узнать, не свободен ли этот край. Мы нашли брод, обозначенный вехами, и переехали реку, только чуть замочив подошвы сапог. Рассыпались цепью и медленно поехали вперед, осматривая каждую ложбину и сарай. Передо мной в тенистом парке возвышался великолепный помещичий дом с башнями, верандой, громадными венецианскими окнами. Я подъехал и из добросовестности, а еще больше из любопытства, решил осмотреть его внутри. Хорошо было в этом доме! На блестящем паркете залы я сделал тур вальса со стулом — меня никто не мог видеть, в маленькой гостиной посидел на мягком кресле и погладил шкуру белого медведя, в кабинете оторвал уголок кисеи, закрывавшей картину, какую-то Сусанну со старцами, старинной работы. На мгновенье у меня мелькнула мысль взять эту и другие картины с собой. Без подрамников они заняли бы немного места. Но я не мог угадать планов высшего начальства; может быть, эту местность решено ни за что не отдавать врагу. Что бы тогда подумал об уланах вернувшийся хозяин? Я вышел, сорвал в саду яблоко и, жуя его, поехал дальше. Нас не обстреляли, и мы вернулись назад. А через несколько часов я увидел большое розовое зарево и узнал, что это подожгли тот самый помещичий дом, потому что он заслонял обстрел из наших окопов. Вот когда я горько пожалел о своей щепетильности относительно картин.

Глава 15

Ночь была тревожная, все время выстрелы, порою треск пулемета. Часа в два меня вытащили из риги, где я спал, зарывшись в снопы, и сказали, что пора идти в окоп. В нашей смене было двенадцать человек под командой подпрапорщика. Окоп был расположен на нижнем склоне холма, спускавшегося к реке. Он был неплохо сделан, но зато никакого отхода, бежать приходилось в гору по открытой местности. Весь вопрос заключался в том, в эту или следующую ночь немцы пойдут в атаку. Встретившийся ротмистр посоветовал не принимать штыкового боя, но про себя мы решили обратное. Все равно уйти не представлялось возможности. Когда рассвело, мы уже сидели в окопе. От нас было прекрасно видно, как на том берегу немцы делали перебежку, но не наступали, а только окапывались. Мы стреляли, но довольно вяло, потому что они были очень далеко. Вдруг позади нас рывкнула пушка — мы даже вздрогнули от неожиданности, — и снаряд, перелетев через наши головы, разорвался в самом неприятельском окопе. Немцы держались стойко. Только после десятого снаряда, пущенного с той же меткостью, мы увидели серые фигуры, со всех ног бежавшие к ближнему лесу, и белые дымки шрапнелей над ними. Их было около сотни, но спаслись едва ли человек двадцать. За такими занятиями мы скоротали время до смены и уходили весело, рысью и по одному, потому что какой-то хитрый немец, очевидно отличный стрелок, забрался нам во фланг и, невидимый нами, стрелял, как только кто-нибудь выходил на открытое место. Одному прострелил накидку, другому поцарапал шею. «Ишь, ловкий!» — без всякой злобы говорили о нем солдаты. А пожилой, почтенный подпрапорщик на бегу приговаривал: «Ну и веселые немцы! Старичка — и того расшевелили, бегать заставили». На ночь мы опять пошли в окопы. Немцы узнали, что здесь только кавалерия, и решили во что бы то ни стало форсировать переправу до прихода нашей пехоты. Мы заняли каждый свое место и в ожидании утренней атаки задремали, кто стоя, кто присев на корточки.

Песок со стены окопа сыпался нам за ворот, ноги затекали, залетающие время от времени к нам пули жужжали, как большие, опасные насекомые, а мы спали, спали слаще и крепче, чем на самых мягких постелях. И вещи вспоминались все такие милые — читанные в детстве книги, морские пляжи с гудящими раковинами, голубые гиацинты. Самые трогательные и счастливые часы — это часы перед битвой. Караульный прожегал по окопу, нарочно по ногам спящих и, для верности толкая их прикладом, повторяя: «Тревога, тревога». Через несколько мгновений, как бы для того, чтобы окончательно разбудить спящих, пронесся шепот: «Секреты бегут». Несколько минут трудно было что-нибудь понять. Стучали пулеметы, мы стреляли без перерыва по светлой полосе воды, и звук наших выстрелов сливался со страшно участвовавшим жужжаньем немецких пуль. Мало-помалу все стало стихать, послышалась команда: «Не стрелять», и мы поняли, что отбили первую атаку. После первой минуты торжества мы призадумались, что будет дальше. Первая атака обыкновенно бывает пробная, по силе нашего огня немцы определили, сколько нас, и вторая атака, конечно, будет решительная, они могут выставить пять человек против одного. Отхода нет, нам приказано держаться, что-то останется от эскадрона? Поглощенный этими мыслями, я вдруг заметил маленькую фигуру в серой шинели, наклонившуюся над окопом и затем легко спрыгнувшую вниз. В одну минуту окоп уже

кишел людьми, как городская площадь в базарный день. «Пехота?» — спросил я. «Пехота. Вас сменить», — отпустило сразу два десятка голосов. «А сколько вас?» — «Дивизия». Я не выдержал и начал хохотать по-настоящему, от души. Так вот что ожидает немцев, сейчас пойдуших в атаку, чтобы раздавить один-единственный несчастный эскадрон. Ведь их теперь переловят голыми руками. Я отдал бы год жизни, чтобы остаться и посмотреть на все, что произойдет. Но надо было уходить. Мы уже садились на коней, когда услыхали частую немецкую пальбу, возвещавшую атаку. С нашей стороны было зловещее молчание, и мы только многозначительно переглянулись.

Глава 16

Корпус, к которому мы были прикомандированы, отходил. Наш полк отправили посмотреть, не хотят ли немцы перерезать дорогу, и если да, то помешать им в этом. Работа чисто кавалерийская. Мы на рысях пришли в деревушку, расположенную на единственной проходимой в той местности дороге, и остановились, потому что головной разъезд обнаружил в лесу накапливающихся немцев. Наш эскадрон спешился и залег в канаве по обе стороны дороги. Вот из черневшего вдаль леса выехали несколько всадников в касках. Мы решили подпустить их совсем близко, но наш секрет, выдвинутый вперед, первый открыл по ним пальбу, свалил одного человека с конем, другие усаkali. Опять стало тихо и спокойно, как бывает только в теплые дни ранней осени. Перед этим мы больше недели стояли в резерве, и неудивительно, что у нас играли косточки. Четыре унтер-офицера — я в том числе — выпросили у поручика разрешение зайти болотом, а потом опушкой леса во фланг германцам и, если удастся, немного их пугнуть. Получили предостережение не утонуть в болоте и отправились. С кочки на кочку, от куста к кусту, из канавы в канаву мы наконец, не замеченные немцами, добрались до перелеска, шагах в пятидесяти от опушки. Дальше, как широкий светлый коридор, тянулась низко выкошенная поляна. По нашим соображениям в перелеске непременно должны были стоять немецкие посты, но мы положились на воинское счастье и, согнувшись, по одному быстро перебежали поляну. Забравшись в самую чащу, передохнули и прислушались. Лес был полон неясных шорохов. Шумели листья, щелбали птицы, где-то лилась вода. Понемногу стали выделяться и другие звуки, стук копыта, роющего землю, звон шашки, человеческие голоса. Мы крались, как мальчики, играющие в героев Майн Рида или Густава Эмара, друг за другом, на четвереньках, останавливаясь каждые десять шагов. Теперь мы были уже совсем в неприятельском расположении. Голоса слышались не только впереди, но и позади нас. Но мы еще никого не видели. Не скрою, что мне было страшно тем страхом, который лишь с трудом побеждается волей. Хуже всего было то, что я никак не мог представить себе германцев в их естественном виде. Мне казалось, что они то как карлики выглядывают из-под кустов злыми крысиными глазками, то огромные, как колокольни, и страшные как полинезийские боги, неслышно раздвигают верхи деревьев и следят за нами с недоброй усмешкой. А в последний миг крикнут: «А-а-а!» как взрослые, пугающие детей. Я с надеждой взглядывал на свой штык, как на талисман против колдовства, и думал, что сперва всажу его, в карлика ли, в великана ли, а потом пусть будет что будет.

Мобилизация в австрийской армии

Вдруг ползший передо мной остановился, и я с размаху ткнулся лицом в широкие и грязные подошвы его сапог. По его лихорадочным движениям я понял, что он высвобождает из ветвей свою винтовку. А за его плечом на небольшой, темной поляне, шагах в пятнадцати, не дальше, я увидел немцев. Их было двое, очевидно, случайно отошедших от своих: один — в мягкой шапочке, другой — в каске, покрытой суконным чехлом. Они рассматривали какую-то вещь, монету или часы, держа ее в руках. Тот, что в каске, стоял ко мне лицом, и я запомнил его рыжую бороду и морщинистое лицо прусского крестьянина. Другой стоял ко мне спиной, показывая сутуловатые плечи. Оба держали у плеча винтовки с примкнутыми штыками. Только на охоте за крупными зверьми, леопардами, буйволами, я испытал то же чувство, когда тревога за себя вдруг сменяется боязнью упустить великолепную добычу. Лежа, я подтянул свою винтовку, отвел предохранитель, прицелился в самую середину туловища того, кто был в каске, и нажал спуск. Выстрел оглушительно пронесся по лесу. Немец опрокинулся на спину, как от сильного толчка в грудь, не крикнув, не взмахнув руками, а его товарищ как будто согнулся и как кошка бросился в лес. Над моим ухом раздалось еще два выстрела, и он упал в кусты, так что видны были только его ноги. «А теперь айда», — шепнул взводный с веселым и взволнованным лицом, и мы побежали. Лес вокруг нас ожил. Гремели выстрелы, скакали кони, слышалась команда на немецком языке. Мы добежали до опушки, но не в том месте, откуда пришли, а много ближе к врагу. Надо было перебежать к перелеску, где, по всей вероятности, стояли неприятельские посты. После короткого совещания было решено, что я пойду первым и если буду ранен, то мои товарищи, которые бегали гораздо лучше меня, подхватят меня и унесут. Я наметил себе на полпути стог сена и добрался до него без помехи. Дальше приходилось идти прямо на предполагаемого врага. Я пошел, согнувшись, и ожидая каждую минуту получить пулю вроде той, которую сам только что послал неудачливому немцу. И прямо перед собой в перелеске я увидел лисицу. Пушистый красновато-бурый зверь грациозно и неторопливо скользил между стволов. Не часто в жизни мне приходилось испытывать такую чистую, простую и сильную радость. Где есть лисица, там, наверное, нет людей. Путь к нашему отступлению свободен.

Когда мы вернулись к своим, оказалось, что мы были в отсутствии не более двух часов. Летние дни длинные, и мы, отдохнув и рассказав о своих приключениях, решили пойти снять седло с убитой немецкой лошади. Она лежала на дороге перед самой опушкой. С нашей стороны к ней довольно близко подходили кусты. Таким образом прикрытие было и у нас, и у неприятеля. Едва высунувшись из кустов, мы увидели немца, нагнувшегося над трупом лошади. Он уже почти отцепил седло, за которым мы пришли. Мы дали по нему залп, и он, бросив все, поспешно скрылся в лесу. Оттуда тоже загремели выстрелы. Мы залегли и принялись обстреливать опушку. Если бы немцы ушли оттуда, седло и все, что в кобурах при седле, дешевые сигары и коньяк, все было бы наше. Но немцы не уходили. Наоборот, они, очевидно, решили, что мы перешли в общее наступление, и стреляли без передышки. Мы пробовали зайти им во фланг, чтобы отвлечь их внимание от дороги, они послали туда резервы и продолжали палить. Я думаю, что если бы они знали, что мы пришли только за седлом, они с радостью отдали бы нам его, чтобы не затевать такой истории. Наконец мы плюнули и ушли. Однако наше мальчишество оказалось очень для нас выгодным. На рассвете следующего дня, когда можно было ждать атаки и когда весь полк ушел, оставив один наш взвод прикрывать общий отход, немцы не тронулись с места, может быть, ожидая нашего нападения, и мы перед самым их носом беспрепятственно подожгли деревню, домов в восемьдесят по крайней мере. А потом весело отступали, поджигая деревни, стога сена и мосты, изредка перестреливаясь с наседавшими на нас врагами и гоня перед собою отбившийся от гуртов скот. В благословенной кавалерийской службе даже отступление может быть веселым.

Глава 17

На этот раз мы отступали недолго. Неожиданно пришел приказ остановиться, и мы растрепали ружейным огнем не один зарвавшийся немецкий разъезд. Тем временем наша пехота, неуклонно продвигаясь, отрезала передовые немецкие части. Они спохватились слишком поздно. Одни выскочили, побросав орудия и пулеметы, другие сдались, а две роты, никем не замеченные, блуждали в лесу, мечтая хоть

ночью поинтересоваться из нашего кольца. Вот как мы их обнаружили. Мы были разбросаны эскадронами в лесу в виде резерва пехоты. Наш эскадрон стоял на большой поляне у дома лесника. Офицеры сидели в доме, солдаты варили картошку, кипятили чай. Настроение у всех было самое идиллическое. Я держал в руках стакан чаю и глядел, как откупоривают коробку консервов, как вдруг услышал оглушительный пушечный выстрел. «Совсем, как на войне», — пошутил я, думая, что это выехала на позицию наша батарея. А хохол, эскадронный забавник — в каждой части есть свои забавники — бросился на спину и заболтал руками и ногами, представляя крайнюю степень испуга. Однако вслед за выстрелом послышался дребезжащий визг, как от катящихся по снегу саней, и шагах в тридцати от нас в лесу разорвалась шрапнель. Еще выстрел, и снаряд пронесся над нашими головами. И в то же время в лесу затрещали винтовки и вокруг нас засвистали пули. Офицер скомандовал «К коням», но испуганные лошади уже металась по поляне или мчались по дороге. Я с трудом поймал свою, но долго не мог на нее вскарабкаться, потому что она оказалась на пригорке, а я — в ложине. Она дрожала всем телом, но стояла смирно, зная, что я не отпущу ее прежде, чем не вспрыгну в седло. Эти минуты мне представляются дурным сном. Свистят пули, лопаются шрапнели, мои товарищи проносятся один за другим, скрываясь за поворотом, поляна уже почти пуста, а я все скачу на одной ноге, тщетно пытаюсь сунуть в стремя другую. Наконец я решился, отпустил поводья и, когда лошадь рванулась, одним гигантским прыжком оказался у нее на спине. Скача, я все высматривал командира эскадрона. Его не было. Вот уже передние ряды, вот поручик, кричащий: «В порядке, в порядке!» Я подскакиваю и докладываю: «Штаб-ротмистра нет, ваше благородие!» Он останавливается и отвечает: «Поезжайте, найдите его». Едва я проехал несколько шагов назад, я увидел нашего огромного и грузного штаб-ротмистра верхом на маленькой гнеденкой лошаденке трубача, которая подгибалась под его тяжестью и трусила, как крыса. Трубач бежал рядом, держась за стремя. Оказывается, лошадь штаб-ротмистра умчалась при первых же выстрелах, и он сел на первую ему предложенную. Мы отъехали с версту, остановились и начали догадываться, в чем дело. Вряд ли бы нам удалось догадаться, если бы приехавший из штаба бригады офицер не рассказал следующего: они стояли в лесу без всякого прикрытия, когда перед ними неожиданно прошла рота германцев. И те, и другие отлично видели друг друга, но не открывали враждебных действий: наши — потому, что их было слишком мало, немцы же были совершенно подавлены своим тяжелым положением. Немедленно артиллерии был дан приказ стрелять по лесу. И так как немцы прятались всего шагах в ста от нас, то неудивительно, что и снаряды летели и в нас. Сейчас же были отправлены разъезды ловить разбредшихся в лесу немцев. Они сдавались без боя, и только самые смелые пытались бежать и вязли в болоте. К вечеру мы совсем очистили от них лес и легли спать со спокойной совестью, не опасаясь никаких неожиданностей.

Через несколько дней у нас была большая радость. Пришли два наши улана, полгода тому назад захваченные в плен. Они содержались в лагере внутри Германии., Задумав бежать, притворились больными, попали в госпиталь, а там доктор, германский подданный, но иностранного происхождения, достал для них карту и компас. Спустились по трубе, перелезли через стену и сорок дней шли с боем по Германии. Да, с боем. Около границы какой-то доброжелательный житель указал им, где русские при отступлении зарыли большой запас винтовок и патронов. К этому времени их было уже человек двенадцать. Из глубоких рвов, заброшенных риг, лесных ям к ним присоединился еще десяток ночных обитателей современной Германии — бежавших пленных. Они выкопали оружие и опять почувствовали себя солдатами. Выбрали взводного, нашего улана, старшего унтер-офицера, и пошли в порядке, высылая дозорных и вступая в бой с немецкими обозными и патрулями.

А. А. Брусилов

Воспоминания

Глава 1

Перед войной

Утром 18 июля 1914 года я прибыл из отпуска в Винницу, вечером 19 июля получил циркулярную телеграмму, что Германия объявила нам войну; вслед за сим объявила нам войну и Австрия (24 июля). Итак, совершилась давно ожидаемая и неизбежная катастрофа, размер и последствия которой никто тогда представить не мог.

К началу войны, помимо недостатка огнестрельных припасов, в реформах Сухомлинова были и другие крупные промахи, как, например, уничтожение крепостных и резервных войск. Крепостные полки были отличными, крепкими частями, прекрасно знавшими свои районы, и при их существовании наши крепости не сдавались и не бросались бы с той легкостью, которая покрыла позором случайные гарнизоны этих крепостей.

Николай II объявляет войну Германии с балкона Зимнего дворца

Скрытые полки, образованные взамен уничтоженных резервных, также не могли заменить их по недостатку крепких кадров и спайки в мирное время. Правда, некоторые второочередные дивизии в общем дрались впоследствии недурно, но обнаружили многие недостатки, которых не было бы в старых резервных частях.

Уничтожение крепостных районов на западной границе, стоивших столько денег, не было продумано и также сильно способствовало неудачам 1915 года. И это — тем более, что был разработан новый план войны, с легким сердцем сразу отдававший противнику весь наш Западный край; в действительности же мы его не могли покинуть и должны были выполнить план, совершенно непредвиденный и неподготовлявшийся.

Как бы то ни было, но война нам была объявлена, мобилизация совершалась быстро и в возможном порядке, и я готовился выступать со своим штабом корпуса, когда получил предписание вступить в командование 8-й армией, которая составлялась из моего 12-го корпуса Киевского округа, 7-го и 8-го корпусов Одесского округа и 24-го корпуса Казанского округа с одной кавалерийской и четырьмя казачьими дивизиями.

По мирному расписанию я был раньше предназначен командовать 2-й армией на Северо-Западном фронте но с уходом моим из Варшавского военного округа в Киевский было ясно, что я этой армии не получу, и мое назначение в 8-ю армию было для меня сюрпризом очень приятным. Я не честолюбив, ничего лично для себя не домогался, но, посвятив всю свою жизнь военному делу и изучая это сложное дело непрерывно в течение всей жизни, вкладывая всю свою душу в подготовку войск к войне, я хотел проверить себя,

свои знания, свои мечты и упования в более широком масштабе.

Не буду останавливаться на описании положения, в котором находилась наша действующая армия, вступая в эту войну. Скажу лишь несколько слов об организации нашей армии и о ее техническом оснащении, ибо ясно, что в XX столетии одною только храбростью войск, без наличия достаточной современной военной техники, успеха в широких размерах достигнуть было нельзя.

Пехота была хорошо вооружена соответствующей винтовкой, но пулеметов было у нее чрезмерно мало, всего по 8 на полк, тогда как минимально необходимо было иметь на каждый батальон не менее 8 пулеметов, считая по 2 на роту, и затем хотя бы одну 8-пулеметную команду в распоряжении командира полка. Итого — не менее 40 пулеметов на 4-батальонный полк, а на дивизию, следовательно, 160 пулеметов; в дивизии же было всего 32 пулемета. Не было, конечно, бомбометов, минометов и ручных гранат, но, в расчете на полевую войну, их в начале войны ни в одной армии не было, и отсутствие их в этот период войны военному министерству в вину ставить нельзя. Ограниченность огнестрельных припасов была ужасающей, крупнейшей бедой, которая меня чрезвычайно озабочивала с самого начала, но я уповал, что военное министерство спешно займется этим главнейшим делом и сделает нечеловеческие усилия, чтобы развить нашу военную промышленность.

Что касается организации пехоты, то я считал — и это оправдалось на деле — что 4-батальонный полк и, следовательно, 16-батальонная дивизия — части слишком громоздкие для удобного управления. Использовать их в боевом отношении достаточно целесообразно — чрезвычайно трудно. Я считал да и теперь считаю, что нормально полк должен быть 3-батальонный, 12-ротного состава, в дивизии — 12 батальонов, а в корпусе — не две, а три дивизии. Таким образом, в корпусе было бы 36 батальонов вместо 32, а троечная система значительно облегчала бы начальству возможность использовать их наиболее продуктивно в бою. Что касается артиллерии, то в ее организации были крупные дефекты, и мы в этом отношении значительно отставали от наших врагов.

Мы имели на 32-батальонный корпус 96 легких орудий и 12 гаубиц, а всего 108 орудий, тогда как немцы, например, имели на 24-батальонный корпус 166 орудий, из коих 36 гаубиц и 12 тяжелых орудий, которых у нас было чрезвычайно мало. Другими словами, по роду артиллерийского нашего вооружения наша артиллерия была приспособлена, да и то в слабой степени, к оборонительному бою, но никак не к наступательному.

Наша артиллерия, как это доказала война, стреляла хорошо побатарейно и дивизионами, но стрельбы высших соединений артиллерии орудиями различных калибров для достижения наибольших боевых результатов она, безусловно, не знала. И уже в военное время ей пришлось на тяжелом опыте, после тяжких испытаний, наскоро обучаться такой сложной стрельбе. В этом она несколько не была виновата, ибо в мирное время на полигонах обыкновенно дело кончалось стрельбой дивизионами однородных орудий, а на инспекторов артиллерии в корпусах в мирное время смотрели как на людей, которые в военное время будут заниматься исключительно учетом огнестрельных припасов и снабжением ими войск. Иначе говоря: из того, что артиллерийских припасов было недостаточно, что артиллерии вообще было мало, в особенности тяжелой, что система обучения артиллериста была нерациональна, — ясно, что военное министерство, включая и Главное управление Генерального штаба и генерал-инспектора артиллерии, не отдавало себе отчета, что такое современная война.

На каждый армейский корпус было по одному саперному батальону, составленному из одной телеграфной роты и трех рот саперов. Очевидно, что такое количество саперов при современном оружии, развиваемом им огне и необходимости искусно закапываться в землю было совершенно недостаточно. При этом нужно признать, что и пехота наша обучалась в мирное время самоокапыванию отвратительно, спустя рукава, и вообще саперное дело в армии было скверно поставлено. Что касается кавалерии, то кавалерийские и казачьи дивизии состояли из четырех полков, шестизэскадронного или шестисотенного состава с пулеметной командой из восьми пулеметов и дивизиона конной артиллерии двухбатарейного состава, по шести орудий в каждой. Сами по себе эти кавалерийские и казачьи дивизии были достаточно сильны для самостоятельных действий стратегической, конницы, но им недоставало какой-либо стрелковой части, связанной с дивизией, на которую она могла бы опираться. В общем, кавалерии у нас было слишком много, в особенности после того, как полевая война перешла в позиционную, и уже во второй половине войны были сформированы в каждой конной дивизии четырехэскадронные или четырехсотенные пешие дивизионы (по одному на конную дивизию).

Воздушные силы в начале кампании были в нашей армии поставлены ниже всякой критики. Самолетов было мало, большинство их были довольно слабые, устаревшей конструкции. Между тем они были крайне необходимы как для дальней и ближней разведки, так и для корректирования артиллерийской стрельбы, о чем ни наша артиллерия, ни летчики понятия не имели. В мирное время мы не озаботились возможностью изготовления самолетов дома, у себя в России, и потому в течение всей кампании значительно страдали от недостатка в них. Знаменитые «Ильи Муромцы», на которых возлагалось столько надежд, не оправдали себя. Нужно полагать, что в будущем, значительно усовершенствованный, этот тип самолетов вырабатывается, но в то время существенной пользы он принести не мог. Дирижаблей у нас в то время было всего несколько штук, купленных по дорогой цене за границей. Это были устаревшие, слабые воздушные корабли, которые не могли принести и не принесли нам никакой пользы. В общем, нужно признаться, что по сравнению с нашими врагами мы технически были значительно отсталыми, и, конечно, недостаток технических средств мог восполняться только лишним пролитием крови, что, как будет видно, имело свои весьма дурные последствия.

Верховным главнокомандующим был назначен великий князь Николай Николаевич. По моему мнению, в это время лучшего Верховного главнокомандующего найти было нельзя. По предыдущей моей службе, в бытность мою начальником Офицерской кавалерийской школы, а затем начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии я имел возможность близко узнать его как по должности генерал-инспектора кавалерии, так и по должности главнокомандующего гвардией и Петербургского военного округа. Это — человек, несомненно, всецело преданный военному делу и теоретически и практически знавший и любивший военное ремесло. Конечно, как принадлежавший к императорской фамилии, он, по условиям своего высокого положения, не был усидчив в работе, в особенности в молодости. По натуре своей он был страшно горяч и нетерпелив, но с годами успокоился и уравновесился. Назначение его Верховным главнокомандующим вызвало глубокое удовлетворение в армии. Войска верили в него и боялись его. Все знали, что отданные им приказания должны быть исполнены, что отмене они не подлежат и никаких колебаний не будет.

Николай Николаевич Романов

с начала войны, чтобы спасти Францию, Николай Николаевич совершенно правильно решил нарушить выработанный раньше план войны и быстро перейти в наступление, не ожидая окончания сосредоточения и развертывания армий. Потом это ставилось ему в вину, но в действительности это было единственно верное решение. Немцы, действуя по внутренним операционным линиям, естественно, должны были стараться бить врагов поочередно, пользуясь своей развитой сетью железных дорог. Мы же с союзниками, действуя по внешним линиям, должны были навалиться на врага сразу со всех сторон, чтобы не дать немцам возможности уничтожать противников поочередно и перекидывать свои войска по собственному произволу.

Жаль, что эту азбучную истину не приняли в соображение лица, составлявшие новый план войны, ссылавшиеся на то, что неизвестно, на кого наш враг раньше набросится — на французов или на нас. Казалось бы, здравый смысл должен был подсказать, что немцы фатально обязаны неизбежно, силою обстановки, атаковать раньше французов, во-первых, потому, что французы скорее нас мобилизуются и раньше нас могут перейти в наступление, а во-вторых, потому, что в случае полной удачи немцы могут быстрее склонить к миру французов, нежели русских с их необъятным пространством в тылу. Удивительный план войны с отводом назад, на линию Белосток — Брест, был окончательно разработан, насколько мне помнится, на секретном совещании в Москве, кажется осенью 1912 года, и тогда же утвержден. В то время я был помощником командующего войсками Варшавского военного округа и высказал мои сомнения относительно целесообразности этого плана бывшему тогда начальником штаба этого округа генералу Ключеву, участвовавшему в составлении этого плана, но он со свойственным ему самомнением стал уверять меня, что это решение безукоризненно хорошо и другого быть не может. Каждый из нас остался при своем мнении, но так как это дело меня не касалось, то я бросил об этом спорить.

Тяжелая артиллерия выдвигается на позиции

Справедливость требует, однако, сказать, что Николай Николаевич к этому совещанию привлечен не был, невзирая на то, что он должен был выполнять вырабатывавшийся план; чтобы избежать его присутствия, совещание назначили не в Петербурге, а в Москве. Во время объявления войны ему пришлось в силу необходимости спешно менять план войны, что в заслугу Главному управлению Генерального штаба и Сухомлинову никак поставить нельзя. Францию же необходимо было спасти, иначе и мы с выбытием ее из строя сразу проиграли бы войну.

Николай Николаевич требовал строгой и справедливой дисциплины в войсках, заботился о нуждах солдата. усиленно следил за тем, чтобы не было засилия штабов над строевым элементом, не жалел наград для строевых работников, был скуп относительно наградений штабных и тыловых деятелей, строго запрещая награждать их боевыми отличиями. Я считал его отличным главнокомандующим.

Фатально было то, что начальником штаба Верховного главнокомандующего был назначен бывший начальник Главного управления Генерального штаба Янушкевич, человек очень милый, но довольно легкомысленный и плохой стратег. В этом отношении должен был его дополнять генерал-квартирмейстер Данилов, человек узкий и упрямый. Его доклады, несомненно, влияли в значительной степени на стратегические соображения Верховного главнокомандующего, и нельзя не признать, что мы иногда действовали в некоторых отношениях наобум и рискованно разбрасывались — не в соответствии с теми силами, которыми мы располагали.

Ю. Н. Данилов (справа) и Н. Н. Янушкевич

Верховный руководитель Добровольческой армии М. В. Алексеев (слева) незадолго до смерти. 1918 г.

Главномандующим армиями Юго-Западного фронта, в состав которого вошла и моя 8-я армия, был назначен командующий войсками Киевского военного округа генерал-адъютант Н. И. Иванов. Это был человек вполне преданный своему долгу, любивший военное дело, но в высшей степени узкий в своих взглядах, нерешительный, крайне мелочный и, в общем, бестолковый, хотя и чрезвычайно самолюбивый. Он был одним из участников несчастной японской кампании, и думаю, что постоянные неудачи этой войны влияли на него и заставляли его непрерывно сомневаться и пугаться зря, так что даже при вполне благоприятной обстановке он постоянно опасался разгрома и всяких несчастий.

Начальником его штаба в начале кампании был М. В. Алексеев, человек очень умный, быстро схватывающий обстановку, отличный стратег. Его главный недостаток состоял в нерешительности и мягкости характера. При твердом главнокомандующем эти недостатки не составляли бы беды, но при колеблющемся и бестолковом Иванове это представляло большую угрозу для хорошего ведения дела на Юго-Западном фронте.

Что касается моей армии, то она составляла левый фланг всех наших сил, оборонявших нашу западную границу. Это давало мне возможность свободнее маневрировать, нежели другим армиям. Моим начальником штаба был генерал Ломновский. Это был человек умный, знающий, энергичный и в высшей степени трудолюбивый. Не знаю, почему он составил себе репутацию панического генерала. Подобная характеристика совершенно неверна. Он быстро соображал, точно выполнял мои приказания и своевременно их передавал в войска, был дисциплинирован и никогда не выказывал трусости и нерешительности. Жили мы с ним в дружбе и согласии. Правда, он не всегда одобрял мои планы, считая их иногда рискованными, и по долгу службы докладывал свои сомнения, но раз какое-либо дело было решено, он вкладывал всю свою душу в наилучшее выполнение той или иной предпринимавшейся операции. Его недостаток был в том, что он не очень доверял своим штабным сотрудникам и лично старался входить во все мелочи, в особенности по генерал-квартирмейстерской части. Этим он обезличивал своих помощников и переобременял себя работой, доводившей его до переутомления. Во всяком случае, это был отличный начальник штаба.

В начале кампании генерал-квартирмейстером штаба моей армии был Деникин, но вскоре он по собственному желанию служить не в штабе, а в строю получил по моему представлению 4-ю стрелковую бригаду, именуемую «железной», и на строевом поприще выказал отличные дарования боевого генерала. После Деникина генерал-квартирмейстером был назначен генерал Никитин, человек средних способностей, честный, спокойный и при таком начальнике штаба, как Ломновский, не игравший в штабе никакой роли.

Командующий войсками Северного фронта генерал Рузский

Рядом с 8-й армией действовала 3-я армия, во главе которой стоял генерал Рузский, человек умный, знающий, решительный, очень самолюбивый, ловкий и старавшийся выставлять свои деяния в возможно лучшем свете, иногда в ущерб своим соседям, пользуясь их успехами, которые ему предвзято приписывались. В качестве яркого примера могу привести тот факт, что он не опроверг резкой неточности, появившейся в русской печати в первых же телеграммах, о наших армиях и о взятии Львова.

Взятие Львова описывалось в печати в совершенно неправдоподобных тонах; сообщалось, что «доблестные войска генерала Рузского продвигались по улицам города по колено в крови». А на самом деле ни во Львове, ни вблизи него уж дня три никаких сражений не было. Армия Рузского была еще далеко от города, когда 8-я армия, продвинувшись южнее далеко вперед, заставила австрийцев очистить Львов.

Когда я ехал в автомобиле на совещание с генералом Рузским в 3-ю армию, сопровождавшие меня полковники граф Гейден и Яхонтов вследствие порчи шин отстали от меня. Пока чинилась их машина, они обратили внимание на множество русин, идущих со стороны Львова.

— Вы откуда? — поинтересовались они.

— Из Львова.

— А что, там много войска?

— Нема никого, вси утекли.

Оба мои полковника, заинтересовавшись, решили проверить это показание. Все равно догнать меня они уже не могли. Их автомобиль беспрепятственно докатил до предместий самого Львова, где они столкнулись с отдельными мелкими частями 3-й армии, собиравшимися туда входить и ожидавшими только городских властей. Въехав вместе с ними в город, они позавтракали с большим аппетитом в гостинице Жоржа и купили конфет в кондитерской. Вот насколько правильно осведомлялась русская публика о подробностях событий, происходивших на театре войны!

Не могу без душевной боли вспомнить первую же восторженную телеграмму главнокомандующего о взятии Львова и Галича. Конечно, великий князь Николай Николаевич был тут ни при чем и просто не заметил предвзятости составленного текста телеграммы: «Доблестные войска генерала Рузского взяли Львов, а армия Брусилова взяла Галич».

Все солдаты и офицеры 8-й армии были поражены: почему же армия генерала Рузского — «доблестная» по первым же шагам, а 8-я армия — только просто армия, тогда как доблесть-то беспримерная была именно в войсках 8-й армии, сражавшейся вдоль всей реки Гнилая Липа и до самого местечка Бобрка не щадя своих сил и жизней бойцов. Вследствие этих боев, повторяю, австрийцы и принуждены были оставить Львов, а 3-я армия пришла на готовое. С первых же шагов нам бросились в глаза несправедливость и пристрастие штаба Юго-Западного фронта. И чем дальше разворачивались события, тем очевиднее это было. Сгущать краски к лучшему в делах любимчиков своих ради получения высших наград и умалять успехи других не считалось неприличным. Я молчал, считая это мелочью и думая только о конечном результате для России. Да я и не мог, по условиям дисциплины, ставить таких точек над *i*. Но в моих войсках разговоров и недовольства было много. Штаб Юго-Западного фронта играл с огнем, допуская такую злую неправду. Умиравшие и искалеченные солдаты хорошо это понимали.

Уже в самом начале войны, когда наша армия быстро продвигалась вперед, меня очень озабочивали ее тыл и связь, которую необходимо было держать штабу армии как с передовыми войсками, так и со штабом фронта. Тыловые учреждения далеко не были сформированы, автомобилей было очень мало, транспортов недостаточно, телеграфных колонн тоже; что же касается санитарной части, то она была лишь в самом зародыше, и как дальше будет видно, во время первых сражений положение раненых было очень тяжелое. Вообще тыл наших армий в начале кампании был, в сущности, в хаотическом состоянии и более приспособлен к стоянию на месте, то есть к обороне, нежели к работе во время энергичного наступления, которое выпало нам на долю.

В общем, следует признать, что в техническом отношении мы были подготовлены неудовлетворительно и что если бы военное министерство не занималось преимущественно войной с Государственной думой, а шло бы с ней рука об руку, то результат подготовки получился бы иной. Объяснение, что мы предполагали быть готовыми лишь к 1917 году и что война застала нас врасплох, только усугубляет вину, ибо нам было известно, что немцы готовят к 1915 году, а следовательно, мы также должны были, чего бы это ни стоило, подготовиться к этому году, а не к 17-му. И это было хотя и трудно, но возможно; мы же готовились недостаточно энергично, спустя рукава, не желая привлекать к этой работе общественные силы из личных политических соображений внутреннего порядка, и дошли до того, что начали войну, имея только по 950 выстрелов на легкое орудие, а тяжелых орудий почти совсем не имели.

Еще хуже была у нас подготовка умов народа к войне. Она была вполне отрицательная.

При Николае II бестолковые колебания расстроили нашу армию, а всю предыдущую подготовку западного театра свели почти к нулю. Поощряемые Германией, мы затеяли дальневосточную авантюру, во время которой немцы наложили на нас крупную контрибуцию в виде постыдного для нашего самолюбия и разорительного для нашего кармана торгового договора. Мы позорно проиграли войну с Японией, и такими деяниями, нужно по справедливости признать, само правительство ускорило революцию 1905–1906 гг. В годы японской войны и первой революции наше правительство ясно подчеркнуло и указало народу, что оно само не знает, чего хочет и куда идет. Спихнулись мы в своей ошибке довольно поздно, после аннексии Боснии и Герцеговины, но моральную подготовку народа к неизбежной европейской войне не то что упустили, а скорее, не допустили.

Если бы в войсках какой-либо начальник вздумал объяснить своим подчиненным, что наш главный враг — немец, что он собирается напасть на нас и что мы должны всеми силами готовиться отразить его, то этот господин был бы немедленно выгнан со службы, если только не предан суду. Еще в меньшей степени мог бы школьный учитель проповедовать своим питомцам любовь к славянам и ненависть к немцам. Он был бы сочтен опасным панславистом, ярим революционером и сослан в Турханский или Нарымский край.

Очевидно, немец, внешне и внутренни, был у нас всесилен, он занимал самые высшие государственные посты, был persona gratissima при дворе. Кроме того в Петербурге была могущественная русско-немецкая партия, требовавшая во что бы то ни стало, ценою каких бы то ни было унижений крепкого союза с Германией, которая демонстративно в то время плевала на нас.

Какая же при таких условиях могла быть подготовка умов народа к этой заведомо неминуемой войне, которая должна была решить участь России? Очевидно, никакая или, скорее, отрицательная, ибо во всей необозримой России, а не только в Петербурге немцы царили во всех отраслях народной жизни.

Даже после объявления войны прибывшие из внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая это война свалилась им на голову — как будто бы ни с того ни с сего. Сколько раз спрашивал я в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там эрц-герц-перц с женой были кем-то убиты, а потому австрияки хотели обидеть сербов. Но кто же такие сербы — не знал почти никто, что такое славяне — было также темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать — было совершенно неизвестно. Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, то есть по капризу царя.

Что сказать про такое пренебрежение к русскому народу?! Очевидно, немецкое влияние в России продолжало оставаться весьма сильным. Вступая в такую войну, правительство должно было покончить пикировку с Государственной думой и привлечь, поскольку это еще было возможно, общественные народные силы к общей работе на пользу родины, без чего победоносной войны такого масштаба не могло быть. Невозможно было продолжать сидеть на двух стульях и одновременно сохранять и самодержавие и конституцию в лице законодательной Думы.

Если бы царь в решительный момент жизни России собрал обе законодательные палаты для решения вопроса о войне и объявил, что дарует настоящую конституцию с ответственным министерством и призывает всех русских поданных, без различия народностей, сословий, религии и т. д., к общей работе для спасения Отечества, находящегося в опасности, и для освобождения славян от немецкого ига, то энтузиазм был бы велик и популярность царя сильно возросла бы. Тут же нужно было добавить и отчетливо объяснить, что вопрос о Сербии — только предлог к войне, что все дело — в непреклонном желании немцев покорить весь мир. Польшу нужно было с высоты престола объявить свободной с обещанием присоединить к ней Познань и Западную Галицию по окончании победоносной войны. Но это не только не было сделано, но даже на воззвание Верховного главнокомандующего к полякам царь, к их великому недоумению и огорчению, ничем не отозвался и не подтвердил обещания великого князя.

Можно ли было при такой моральной подготовке к войне ожидать подъема духа и вызвать сильный патриотизм в народных массах?! Чем был виноват наш простолудин, что он не только ничего не слышал о замыслах Германии, но и совсем не знал, что такая страна существует, зная лишь, что существуют немцы, которые обезьяну выдумали, и что зачастую сам губернатор — из этих умных и хитрых людей. Солдат не только не знал, что такое Германия и тем более Австрия, но он понятия не имел о своей матушке России. Он знал свой уезд и, пожалуй, губернию, знал, что есть Петербург и Москва, и на этом заканчивалось его знакомство со своим Отечеством. Откуда же было взяться тут патриотизму, сознательной любви к великой родине?! Не само ли самодержавное правительство, сознательно державшее народ в темноте, не только могущественно подготавливало успех революции и уничтожение того строя, который хотело поддержать, невзирая на то, что он уже отжил свой век, но подготавливало также исчезновение самой России, ввергнув ее народы в неизмеримые бедствия войны, разорения и внутренних раздоров, которым трудно было предвидеть конец.

Первый акт революции (1905—1906 гг.) ничему правительство не научил, и оно начало войну вслепую само подготавливая бессознательно второй акт революции.

Войска были обучены, дисциплинированы и послушно пошли в бой, но подъема духа не было никакого, и понятие о том, что представляла собой эта война, отсутствовало полностью.

Невольно является вопрос: что за государственные люди окружали царя и что в это время думали ближние придворные чины всех рангов?

Подводя итог только что высказанному, я должен подтвердить твердое мое убеждение, что император Николай II был враг вообще всякой войны, а войны с Германией в особенности.

По традициям Русского императорского дома начиная с Павла I и в особенности при Александре I, Николае I и Александре II Россия все время работала на пользу Пруссии, зачастую во вред себе, и только Александр III, отчасти под влиянием своей супруги-датчанки, видя печальные последствия такой политики в конце царствования своего отца, отстал от этой пагубной для России традиции. Но сказать, что он успел освободить Россию от немецкого влияния, никак нельзя, и по воцарении слабодушного Николая II осталась лишь кажущаяся наружная неприязнь к Германии. Большая же программа развития наших вооруженных сил выплыла не столько для того, чтобы действительно воевать с Германией, сколько для того, чтобы обеспечить этим мир и успокоить общественное мнение, понимавшее, что хотим мы или не хотим, но войны не избежать. Сам же царь едва ли верил, что эта война состоится. Обвинять Николая II в этой войне нельзя, так как не заступиться за Сербию он не мог, ибо в этом случае общественное негодование со стихийной силой сбросило бы его с престола, и революция началась бы с помощью всей интеллигенции не в 1917, а в 1914 году. Несомненно, что этим предложением воспользовались бы немедленно все революционные силы России. Виноват же царь в том, что он сам не знал, чего хотел, не отдавал себе отчета в истинном положении дела и, окруженный лестью, самоуверенно думал, что мир и война в его руках; он был убежден, что он — тонкий дипломат, умело ведущий внешнюю и внутреннюю политику России по собственному произволу, невзирая на столь недавний урок японской войны и революции 1905—1906 гг.

В заключение этой главы скажу: я всю жизнь свою чувствовал и знал, что немецкое правительство и Гогенцоллерны — непримиримейшие и сильнейшие враги моей родины и моего народа, они всегда хотели нас подчинить себе во что бы то ни стало; это и подтвердилось последней всемирной войной. Что бы ни расписывал в своих воспоминаниях Вильгельм II (берлинское издание 1923 года), но войну эту начали они, а не мы; все хорошо знают, какая ненависть была у них к нам, а не наоборот.

В этом отношении вполне понятна и моя нелюбовь к ним, сквозящая со страниц моих воспоминаний.

От Проскурова до Львова

Вверенная мне армия к концу июля была сосредоточена на линии Печиски — Проскуров — Антоновцы — Ярмолинцы, имея две кавалерийские дивизии выдвинутыми перед фронтом армии. 24-й корпус только головой своей начал подходить к месту сосредоточения, так что в действительности у меня к началу военных действий было не четыре, а три неполных корпуса, так как 1-я бригада 12-й пехотной дивизии была расположена на правом берегу реки Днестр с самостоятельной задачей. К ней должны были подойти три второочередные кавказские казачьи дивизии, но к моменту перехода в наступление начали прибывать только их первые эшелоны.

Сведения о противнике были у нас довольно скудны, и, правду говоря, наша разведка в общем была налажена мало удовлетворительно. Воздушная разведка вследствие недостатка и плохого качества самолетов была довольно слабая; тем не менее то, что мы знали, получалось главным образом через ее посредство; агентов шпионажа у нас было мало, и те, которых мы наскоро набрали, были плохи. Кавалерийская разведка проникнуть глубоко не могла, так как пограничная река Збруч была сплошь и густо занята неприятельскими пехотными заставами. В общем нам было известно, что пока против нас больших неприятельских сил не обнаружено; предполагалось, что неприятельские войска сосредоточиваются на Серете, по линии Тарнополь — Трембовля — Чортков, но в каком количестве и как расположены их силы, узнать не удалось.

На Збруче кроме пехотных застав 11-го австрийского корпуса находилась еще кавалерийская дивизия, которая чрезвычайно энергично действовала на нашем фронте. Между прочим, она произвела нападение на 2-ю сводную казачью дивизию, которая находилась впереди левого фланга армии у Городка. Наша казачья дивизия была поддержана четырьмя ротами пехоты, которые были ей временно приданы. Для встречи подходящего к Городку противника наша пехота заняла густою цепью околицу села, а также поблизости находившуюся возвышенность, имея уступом за левым флангом Кавказскую казачью бригаду. Пулеметы же казачьей дивизии были поставлены на этом же фланге так, что могли обстреливать всю местность впереди залегшей пехоты. Конно-артиллерийский дивизион стал на позицию за селом, а Донскую казачью бригаду начальник дивизии взял к себе в общий резерв.

Австрийская конница, подходя к Городку, развернула сомкнутый строй и без разведки, очертя голову понеслась в атаку на нашу пехоту в столь неподходящем строю. Частью артиллерийский, а затем ружейный огонь встретил эту безумно храбрую, но бессмысленную атаку. Вскоре и пулеметы наши стали осыпать австрийцев с фланга, а кавказские казаки ударили по ним с фланга и тыла. При этих условиях, очевидно, результат австрийской атаки оказался весьма для них плачевным: трупы перебитых людей и лошадей остались лежать на поле битвы, одиночные люди и лошади бегали по полю по всем направлениям, а остатки этой дивизии бросились беспорядочной толпой наутек. Распоряжался этим боем с нашей стороны состоявший в моем распоряжении генерал-майор Павлов. Начальник же дивизии ограничился тем, что сидел при резерве и не допустил свежую бригаду резерва преследовать разбитого врага. По этой причине остатки австрийской дивизии с ее артиллерией и пулеметами благополучно ушли за Збруч. Пришлось удалить этого незадачливого начальника, которого заместил генерал Павлов.

Было получено приказание нашим армиям перейти 5 августа в наступление, не ожидая окончания сосредоточения войск. Такая спешка была вызвана необходимостью помочь англо-французам, которым приходилось плохо, чтобы нашими наступательными действиями оттянуть хотя бы часть вражеских сил с их Западного фронта на Восточный, против нас. В это-то время выяснилось, что на губернский город Каменец-Подольск наступает колонна противника приблизительно силой в одну бригаду пехоты с артиллерией и двумя-тремя эскадронами кавалерии. По этому поводу мною была получена телеграмма главнокомандующего, предлагавшего мне направить к Каменец-Подольску достаточные силы, чтобы прикрыть этот город от вражеского нашествия. На это я ответил, что разбрасывать свои силы перед самым началом боевых действий я не считаю возможным, а что когда я перейду в наступление и вступлю на австрийскую территорию, то эта колонна, боясь быть отрезанной, сама побежит назад, без всякого понукания; разбрасываться же для второстепенных целей нахожу вредным. Главнокомандующий сдался на мои доводы и отменил свое распоряжение. Австрийцы действительно заняли Каменец-Подольск 4 августа, а семь рот ополчения, находившихся там, отошли без боя к Новой Ушице; австрийцы же 6-го числа, узнав о нашем переходе через Збруч, спешно покинули Каменец-Подольск и полностью вернули контрибуцию, которую собрали с жителей города. Это было совершенно естественно, потому что они хорошо понимали, что если они возьмут контрибуцию с жителей Каменец-Подольска, то и я в свою очередь, заняв Тарнополь, Трембовлю и Чортков, не пощажу этих городов и обложу их такой же, если не большей, контрибуцией.

5 августа войска вверенной мне армии быстро перешли через реку Збруч, являвшуюся нашей государственной границей. Они были встречены незначительным сопротивлением застав австрийской пехоты и остатками конной дивизии, только что разбитой у Городка, причем у австрийцев на Збруче никаких резервов не оказалось. Во время перехода через Збруч сгорел дотла Гусятин. Почему он сгорел и кто его поджег, так и осталось невыясненным. Несколько большее сопротивление встретили мы при форсировании реки Серет, а особенно у городов Тарнополь и Чортков. Немногочисленные австрийские войска, оказавшиеся тут, были разбиты наголову и было взято несколько орудий, пулеметов и пленные. Вслед за сим более серьезный бой разгорелся на реке Коропец, но и тут противник обратился в бегство; были захвачены почти вся его артиллерия, много огнестрельных припасов, а также много пленных. При допросе они показали, что были уверены, что мы еще на Серете и что столкновение с нами оказалось для них большим неприятным сюрпризом.

Моя армия имела три корпуса в первой линии и уступом за левым флангом 24-й корпус, который не успел сосредоточиться ко дню нашего перехода в наступление и был мною направлен к укрепленному городу Галич, ускоренной атакой которого я и предполагал заняться. Но тут я получил телеграмму главнокомандующего, в которой значилось, что 3-й армии приходится очень тяжело и что мне предписывается оказать ей усиленную поддержку.

Действительно, 3-я армия, тесня противника, все с большим и большим трудом продвигалась по направлению к Львову, и наступил момент, когда она вынуждена была остановиться, не имея возможности осилить врага.

Вследствие получения такой директивы и имея в виду данные моей разведки, что на Гнилой Липе находятся значительные силы противника, окапывающиеся на ее правом берегу, я решил оставить у Галича против его гарнизона 24-й корпус в виде заслона для

обеспечения моего левого фланга, а тремя корпусами совершить ночной фланговый марш, чтобы примкнуть к левому флангу 3-й армии и развернуться против главных сил противника, находившихся на Гнилой Липе. Фланговый марш приходилось совершать вблизи противника, и мой начальник штаба, а также некоторые генералы считали такое движение крайне рискованным; я этого не находил, так как чувствовал, что неприятель выпустил из своих рук инициативу и пока думает лишь о том, чтобы прикрыть Львов, в особенности после двух поражений, которые он уже понес. Кроме того, река Гнилая Липа труднопроходима вследствие болот и зарослей по обоим своим берегам; лишь в нескольких местах она имеет мосты с бесконечными гатями, представляющими собой настоящие узкие дефиле. Я был вполне убежден, что австрийцы не рискнут давать бой, имея ее у себя в тылу. Посему, невзирая на всякие разговоры, я оставил без изменения свое решение, которое было выполнено без всяких препятствий со стороны противника.

В общем план сражения на Гнилой Липе состоял в том, чтобы 12-й и 8-й корпуса атаковали противника, связав его с фронта, но не форсировали реки, пока ясно не обнаружится охват левого фланга австрийцев 7-м корпусом, который должен был, перейдя Гнилую Липу, отбрасывать левый фланг австрийцев к югу, дабы отрезать эту неприятельскую группу от войск, противостоявших нашей 3-й армии, и отдалить ее от Львова, чтобы она не зашла в его форты. 8-й корпус, кроме того, должен был загнуть свой левый фланг, чтобы отбивать атаки гарнизона крепости Галич. 24-му корпусу, шедшему, как раньше было сказано, на один переход уступом за левым флангом армии, было приказано свою головную бригаду выслать форсированным маршем к Галичу для облегчения положения 8-го корпуса, и всему 24-му корпусу было поручено направляться к Галичу для его осады, а в случае возможности — и захвата его внезапной атакой.

Чины штаба Юго-Западного фронта

На реке Гнилая Липа моя армия дала первое настоящее сражение. Предыдущие бои, делаясь постепенно все серьезнее, были хорошей школой для необстрелянных войск. Эти удачные бои подняли их дух, дали им убеждение, что австрийцы во всех отношениях слабее их, и внушили им уверенность в своих вождях. В течение двух дней, 17 и 18 августа, во время которых продолжался жестокий и сильный бой на Гнилой Липе, я убедился, во-первых, в том, что командующему армией необходим не малый, а сильный общий резерв, без которого сражение всегда будет висеть на волоске, и что небольшая часть, находящаяся в распоряжении командующего армией для парирования случайностей, как полагали немцы да и мы с ними, до начала этой кампании, совершенно недостаточна. Во-вторых, убедился я также, что необходимо иметь сильный артиллерийский резерв для того, чтобы концентрировать артиллерийские массы на решающих пунктах, а отнюдь не иметь артиллерию равномерно разбросанной по всему фронту, разбитой поровну между дивизиями. Для этого я считал необходимым, чтобы инспекторы артиллерии корпусов играли более деятельную роль начальников, управляющих огнем значительных артиллерийских соединений, а не ограничивались только снабжением своих войск огнестрельными припасами. Посему по окончании сражения был мною издан соответствующий приказ о роли инспекторов артиллерии во время боя.

На второй день боя 7-й корпус перешел через Гнилую Липу, правда с большим трудом и значительными потерями, и стал охватывать левый фланг противника, но еще не было вполне ясно, в какой степени выиграли мы это сражение и насколько сильно неприятель пострадал. Он еще стоял на месте и упорно сопротивлялся. В особенности тяжело было левому флангу нашей армии, так как из крепости Галич австрийцы значительными силами охватывали фланг 8-го корпуса, который тут дрался. Высланная по моему приказу генералом Цуриковым бригада 24-го корпуса притянула на себя большую часть войск гарнизона Галича и этим путем облегчила положение нашего 8-го корпуса. На третий день боя с утра выяснилось, что австрийцы сочли себя разбитыми и что их главные силы в большом расстройстве ночью стали отступать, прикрываемые сильными арьергардами. Наши войска, тесня их и быстро наступая, захватывали массу орудий, пулеметов, всякого оружия, значительные обозы и много пленных. Штаб армии во время этого сражения находился в г. Бржежаны и был прочно связан со штабами корпусов и телефоном и телеграфом. Таким образом, я имел возможность своевременно получать с обширного фронта все необходимые донесения для управления боем.

Должен отметить серьезную услугу, которую в первый день сражения оказал армии генерал Каледин со своей 12-й кавалерийской дивизией. Она заняла разрыв фронта между 12-м и 7-м корпусами по собственной инициативе и боролась с подавляющей силой противника до подхода бригады 12-й пехотной дивизии, которая запоздала к назначенному ей времени не по своей, однако, вине.

Генерал А. М. Каледин

Одновременно с выигранным мною сражением на Гнилой Липе 3-я армия успешно потеснила противника севернее меня и решительно отбросила его к Львову. В это время была получена директива главнокомандующего, который приказывал мне осаждать Львов с юга, тогда как 3-я армия должна была осаждать Львов с востока и севера. Считалось, что Львов укреплен, обладает большим гарнизоном и что он представляет собой сильное препятствие для нашего дальнейшего продвижения.

Крупные недостатки моего тыла, его организации, при быстром продвижении вперед меня очень огорчили, но более всего меня озабочивала санитарная часть и ее заправилы. Не продуманные раньше меры обеспечения призора раненых, недочеты которого всецело лежали на ответственности военного министерства и Киевского военного округа, ясно показали свою полную несостоятельность. Вызванный мною перед сражением заведующий санитарной частью армии, доктор медицины, оказался невеждой в роли администратора. На мой вопрос: «Какие меры приняты для приема раненых и дальнейшей их эвакуации?» — он твердо ответил мне, что все распоряжения сделаны и что в Бржежанах, куда будут свозиться раненые, у него готово 2000 мест, а при необходимости он может принять там до 3000 раненых. В действительности оказалось, что он, в сущности, мог принять не свыше 400 раненых, и когда было свезено свыше 3500 только своих русских солдат и офицеров, не считая раненых неприятеля, то они оказались в крайне критическом положении. Пришлось наспех, отстранив заведующего санитарной частью, впрячь в его работу всех состоявших при мне лиц для поручений и адъютантов, чтобы наскоро очистить некоторые дома, дабы как-нибудь укрыть раненых под какой-либо кров, реквизировать посуду и стаканы, наладить изготовление пищи и чая и подготовить несколько санитарных поездов, чтобы возможно быстрее эвакуировать раненых в тыл. Врачебная же помощь и своевременная перевязка оказались невозможными по недостатку врачей. В следующих боях благодаря принятым тотчас же мерам подобное безобразие более не повторялось, да и во главе санитарной части был мною поставлен толковый администратор генерал Панчулидзе.

По-видимому, положение о санитарной части оказалось негодным не только в 8-й армии, ибо в Ставке пришлось его вновь переработать. Нужно признать, что не только санитарная часть в самом начале кампании была весьма плоха, но и все новое положение о полевом управлении войсками совершенно никуда не годилось. Оно было объявлено и вошло в силу уже после начала войны, и на

практике приходилось знакомиться с этим новым положением и с горечью убеждаться в безобразном и непрактичном его составлении. До нас доходили слухи, что военный совет это положение не одобрил и что оно было проведено в жизнь потому, что война была нам объявлена неожиданно. Дальше мне еще придется говорить об этом злосчастном положении; тут же скажу, что пришлось мне самому вмешаться в санитарное дело, чтобы его хоть сколько-нибудь упорядочить для будущего.

Считаю долгом совести помянуть добром многих представителей земства и отдельных лиц из ближайших к бывшей границе местностей. Помимо всякой администрации они по собственной инициативе оказали громадные услуги раненым и больным воинам. Было создано много летучих отрядов, перевязочных пунктов и лазаретов. И все это — с энергией и распорядительностью, поистине достойными истории.

20 августа воздушная разведка донесла, что видна масса войск, стягивающихся к Львовскому железнодорожному вокзалу, и что поезда один за другим, по-видимому, нагруженные войсками, уходят на запад; о том же донесли кавалерийские разъезды, сообщившие, что неприятельские колонны быстро отходят, минуя Львов. В этот день я поехал на свидание с генералом Рузским, с которым хотел сговориться о наших дальнейших совокупных действиях, тем более что на время осады Львова я ему как старшему должен был быть подчинен. Во время нашего совещания и он получил донесение от командира 9-го корпуса генерала Щербачева, что команды разведчиков этого корпуса невозбранно продвигаются вперед и беспрепятственно занимают львовские форты, которые никем не защищаются, притом Щербачев, предполагая, что Львов очищается противником, просил разрешения двигаться вперед. Рузский очень был озадачен полученными сведениями и впал в большое сомнение относительно разрешения Щербачеву в его просьбе. Но в конце концов он на предложение Щербачева согласился и отдал приказание осторожно продвигаться к Львову, сильно, однако, сомневаясь, чтобы такой важный и крепкий пункт мог быть очищен без серьезного боя.

В это же время в штабе моей армии было получено донесение от начальника 12-й кавалерийской дивизии, что один из его разъездов вошел во Львов, который был очищен от противника, и жители встретили офицера с 12 драгунами очень приветливо. Таким образом, первым вошел во Львов кавалерийский разъезд, который беспрепятственно проехал по городу. Нужно признать тот факт, что противник главным образом ожидал нашего наступления на Львов от Брод на Красне; проигранное же им сражение на Гнилой Липе давало мне возможность выйти в тыл войскам, противостоявшим 3-й армии, и этим участь Львова была решена. Совершенно ясно, что Львов так быстро пал благодаря совокупным действиям 3-й и 8-й армий и без моего флангового марша, без того, что противник был разбит на Гнилой Липе, а мои войска продвинулись к югу от Львова, этот город без боя очищен бы не был. В официальных же телеграммах высшего начальства объявлялось, что Львов был взят генералом Рузским. Я против этого не протестовал, ибо славы не искал, а желал лишь успеха делу.

Тотчас по занятии Львова нашими войсками была получена директива главнокомандующего, который приказывал генералу Рузскому с его армией, усиленной 12-м корпусом из моей армии, двигаться на Раву-Русскую, мне же, заняв Львов, с главными моими силами расположиться восточнее Львова и оберегать левый фланг всего фронта, маневрируя войсками сообразно обстановке. Движение Рузского к Раве-Русской вызывалось тем обстоятельством, что главные силы австрийской армии были на линии Люблин — Холм, и генерал Рузский своим движением должен был охватить фланг вражеских полчищ, с которыми северные армии фронта справиться не могли и были ими сильно теснимы.

С назначенной для моей армии ролью я согласен не был и находил такое решение вопроса об охране фланга фронта не соответствующим цели, ибо считал возможным одно из двух: или австрийцы не обратят внимания на наш левый фланг, и тогда моя армия в это тяжелое для нас время не примет никакого участия в общем деле, или же австрийцы соберут значительные силы на свой правый фланг, захватят Львов, и я не буду в состоянии выполнить данной мне задачи.

Я считал более целесообразным в это же время перейти самому в дальнейшее наступление и атаковать вражеские войска, расположившиеся на гродекской позиции, чрезвычайно сильной и имевшей большое значение для дальнейшего наступления. При этом я предполагал, что если на гродекской позиции будут стоять лишь только что разбитые нами войска, то по всем вероятностям ввиду их деморализации после проигранного сражения я их осилю; если же противник значительно усилился, то я перейду к временной обороне, укрепившись впереди Львова, и тогда левый фланг нашего фронта будет, во всяком случае, более обеспечен. Сохранение Львова в наших руках имело, по моему мнению, огромное моральное значение, помимо главной цели — лучшего обеспечения операции генерала Рузского.

Эти соображения я по телеграфу сообщил генералу Алексееву, настоятельно испрашивая разрешения на их выполнение, однако при одном непременном условии — возвращении мне 12-го армейского корпуса. Главнокомандующий согласился с моими доводами, и его директива была соответствующим образом изменена, а я тотчас же двинул вверенную мне армию вперед, отдав вместе с тем приказание командиру 8-го корпуса взять возможно быстрее сильно укрепленный Миколаев, имевший, по моим сведениям, в это время незначительный гарнизон. Для этой же цели мною был ему направлен единственный дивизион тяжелой артиллерии, имевшийся в 8-й армии.

22 августа мною было получено донесение командира 24-го корпуса, что сильно укрепленный Галич взят почти без всякого сопротивления, причем захвачена вся тяжелая артиллерия и разные запасы, которые были там сосредоточены. Это для меня была огромная радость. Теперь был обеспечен мой тыл и освобождался 24-й корпус; одновременно с этим 2-я сводная казачья дивизия заняла Станиславов и направилась на Калуш, Болехув и Стрый. Сильно укрепленный Миколаев вслед за сим, после хорошей артиллерийской подготовки, был также взят почти без потерь, а слабый гарнизон, в нем находившийся, частью попал в плен, а частью отступил.

Таким образом, и левый фланг моей армии, расположившийся против гродекской позиции, был также прочно обеспечен. Я же со штабом армии из Бобрка переехал во Львов, во дворец наместника.

Воздушная разведка в это время указывала, что войска противника заняли гродекскую позицию и продолжали на ней спешно совершенствовать свои укрепления; вместе с тем от нее же поступали сведения, что по железной дороге подвозятся подкрепления и заметны пехотные колонны,двигающиеся от Перемышля к Гродеку.

Градоначальником Львова был мною назначен полковник Шереметов, занимавший перед войной должность волынского вице-губернатора, которому была дана инструкция требовать лишь одного — соблюдения полного спокойствия и выполнения всех требований военного начальства — и предписывалось сохранить возможно большую нормальность жизни города.

Явившейся ко мне депутации от городского управления и всех сословий я объявил: «Для меня в данное время все национальности, религии и политические убеждения каждого обывателя безразличны; это — всё дела, касающиеся мирного обихода жизни. Теперь война, и я требую от всех жителей одного условия: сидеть спокойно на месте, выполнять все требования военного начальства и жить возможно более мирно и спокойно. Наши войска мирных жителей трогать не будут; за все, что будет браться от жителей в случае необходимости, будет немедленно уплачиваться русскими деньгами по курсу, определенному Верховным главнокомандующим. Предваряю, однако, что те, которые будут уличены в сношениях с австрийцами или будут высказывать враждебность к нашим войскам, будут немедленно предаваться военно-полевому суду. Никакой контрибуции на город накладывать не буду, если его жители будут спокойны и послушны».

Депутация выразила свою благодарность за высказанные мною слова и от имени населения твердо обещала, что не нарушит порядка и лояльности по отношению к нам. Нужно сказать, что население выполнило свои обещания честно и добросовестно. В дальнейшем, когда назначенный генерал-губернатор Галиции вступил в исполнение своих обязанностей, предприняты были с нашей стороны разные политическо-религиозные меры, которые повели к большим недоразумениям и к тяжелым последствиям после очищения нами Галиции в 1915 году, но генерал-губернатор Галиции не был мне подчинен, и я совершенно не касался этого дела.

Митрополит Шептицкий

Униатский митрополит граф Шептицкий, явный враг России, с давних пор неизменно агитировавший против нас, по вступлении русских войск во Львов был по моему приказанию предварительно подвергнут домашнему аресту. Я его потребовал к себе с предложением дать честное слово, что он никаких враждебных действий, как явных, так и тайных, против нас предпринимать не будет; в таком случае я брал на себя разрешить ему оставаться во Львове для исполнения его духовных обязанностей. Он охотно дал мне это слово, но, к сожалению, вслед за сим начал опять мутить и произносить церковные проповеди, явно нам враждебные. Ввиду этого я его выслал в Киев в распоряжение главнокомандующего. Состоявшему при мне члену Государственной думы, бывшему лейб-гусарскому офицеру графу Владимиру Бобринскому, поступившему при объявлении войны вновь на военную службу, я приказал осматривать все места заключения, которые попадали в наши руки, и немедленно выпускать политических арестантов, взятых под стражу австрийским правительством за русофильство. Бобринский чрезвычайно охотно взялся за эту миссию, так как он еще в мирное время имел большие связи с русофильской партией русин. Не помню цифр, но таких арестантов оказалось очень много, и они были немедленно освобождены; уголовные же преступники продолжали, конечно, содержаться под стражей и были переданы в распоряжение галицийского генерал-губернатора.

Итак, войска вверенной мне армии были двинуты к западу от Львова с целью занять исходное положение для атаки знаменитой своей силой гродекской позиции, причем было приказано 24-му корпусу оставить небольшой гарнизон в Галиче, а с остальными силами форсированным маршем идти на присоединение к армии, заняв ее левый фланг. Его головные части попутно принимали участие во взятии Миколаева, и к 27 августа весь корпус успел занять свое исходное положение для участия в Гродекском сражении.

Владимир Бобринский

К 28 августа обстановка, в которой находилась моя армия, рисовалась мне следующим образом. Из различных источников разведки мне было известно, что противник, отступивший от Львова, то есть остатки войск, дравшихся против наших 3-й и 8-й армий, остановились на гродекской позиции, на правом берегу реки Верещица, и что к этим войскам подошли значительные подкрепления, но в каком размере — мне было неизвестно. Я считал, однако, что подкрепления должны были быть серьезными и что противник, конечно знавший, что 3-я армия пошла на Раву-Русскую, а у Львова осталась лишь 8-я армия, вероятно, сам перейдет в наступление. Эта мысль тем более была вероятна, что мосты на Верещице, разрушенные вначале австрийцами при отступлении, деятельно исправлялись, устраивались новые переправы и несколько сильных авангардов перешло на левый берег Верещицы.

Являлся вопрос: при подобной обстановке переходить ли мне в наступление или же принять оборонительный бой? По моему неизменному правилу, которого я держался до конца кампании, поскольку это было хотя мало-мальски возможно, я решил перейти в решительное наступление. С рассвета 28 августа, зная, что противник, по всей вероятности, обладает значительно большими силами, чем я, и сам может перейти в наступление, я решил двинуть свои войска, ибо считал для себя более выгодным втянуться во встречный бой. В крайности, я всегда мог перейти потом к оборонительному бою, что гораздо выгоднее, чем с места сразу выпустить инициативу из своих рук. Такой образ действий как в этом случае, так и в дальнейшем ходе кампании мне значительно помогал, ибо при встречном бое против сильнейшего противника я смешивал его карты, спутывал его план действий и вносил значительную путаницу в его предположения. Это давало также возможность точно выяснить группировку его сил, а следовательно, и его намерения.

Русская гаубица

В действительности австрийцы 28 августа также перешли в наступление и получился тот встречный бой, который я и предвидел. На всем фронте 8-й армии силы противника по сравнению с нашими оказались подавляющими, а кроме того, он значительно превосходил нас количеством тяжелой артиллерии. На всем фронте с рассвета завязался жестокий бой. Еще в предыдущие дни австрийцы сильно наседали на мой правый фланг — на 12-й корпус, позиция которого находилась в лесном пространстве; казалось, противник предполагает нанести свой главный удар именно на этот фланг. Я, однако же, думал, что это не что иное, как демонстрация, имеющая целью заблаговременно привлечь наше внимание, а следовательно, и резервы к нашему правому флангу. Действительно, в первый день сражения в центре против 7-го и 8-го корпусов, и в особенности на левом фланге против 24-го корпуса, были направлены главные усилия противника. К вечеру выяснилось, что потери наши велики, вперед продвинуться сколько-нибудь значительно мы не могли, и все корпусные командиры доносили, что окапываются, причем некоторые из них прибавляли, что сомневаются в возможности удержаться на месте против подавляющих сил противника, его сильнейшего артиллерийского огня и многочисленных пулеметов. Мой резерв был израсходован только частью. По взятым пленным можно было считать, что против 8-й армии находится не менее семи корпусов, то есть

почти вдвое больше силы, чем те, которыми я располагал. В частности, 24-й корпус, упирившийся своим левым флангом в Николаев, форты которого были взяты одним полком 4-й стрелковой бригады, значительно выдвинулся вперед и охватывался австрийцами.

Имея в виду, что войска остановились к вечеру при встречном бое на случайных позициях и понесли уже значительные потери (в резерве у меня оставалась всего одна бригада пехоты), я сначала, отдавая директиву на следующий день, склонен был приказать отойти от занимаемых позиций, но с таким расчетом, чтобы центр армии занял львовские форты, а левый фланг упирался в форты Николаева. Такую директиву я начал составлять, но затем меня начало мучить, что, по французской поговорке, «ce n'est que le premier pas qui coûte»[1], раз войска подадутся назад, то, пожалуй, у Львова им не удержаться; поэтому я окончательно решил: правому флангу и центру оставаться на своих местах, а левому флангу, в особенности 48-й пехотной дивизии, отойти с таким расчетом, чтобы занять высоты севернее Николаева и на этом фланге вести пока устойчивый оборонительный бой; центром же и правым флангом действовать активно. В этом решении не отходить мне помог выказанной им радостью состоявший при мне для поручений Генерального штаба генерал-майор Байов, которому я тут же выразил мою благодарность за моральную поддержку. Вместе с тем мною было приказано спешно вести через Галич ко Львову бригаду 12-й пехотной дивизии, которая к тому времени подошла к Станиславу. Затем я телеграфировал командующему 3-й армией требование немедленно вернуть мне бригаду 12-го корпуса, которую он, вероятно по недоразумению, потащил с собой к Раве-Русской. От Тарнополя мною было приказано экстренно вести два батальона пополнения, по 1000 человек каждый, также ко Львову. Второй сводной казачьей дивизии, находившейся у города Стрый, также было отдано приказание форсированным маршем прибыть к левому флангу армии, у Николаева переправиться на левый берег Днестра и получить дальнейшее указание для действий от командира 24-го корпуса.

Таким образом, я притянул к полю сражения все, что только было возможно, дабы во что бы то ни стало отстоять Львов, и не теряя надежды, что, дав израсходоваться пылу австрийцев, я затем опять перейду в наступление. Было весьма затруднительно в данном случае экстренно перевозить войска по железным дорогам, ибо у нас в качестве подвижного состава по железной дороге европейской колеи могли служить только паровозы и вагоны, которые были нами захвачены у противника. Но часто бывает на войне, что при полном напряжении сил и крепком желании невозможное оказывается возможным, и потребованные мною подкрепления, как будет дальше видно, к решающему моменту были подвезены и подошли своевременно, за исключением, к сожалению, моей бригады, упомянутой ранее, которую генерал Рузский отказался вернуть, сообщая, что она уже втянута в бой. Тогда я просил направить мне какую-либо другую бригаду, так как если бы я не устоял, то и ему у Равы-Русской пришлось бы плохо. Просил я также и главнокомандующего в этом экстренном случае, который мог при неуспехе сильно скомпрометировать наши прежние удачи, воздействовать со своей стороны на 3-ю армию, тем более что, по имевшимся у нас сведениям, силы противника, противостоявшие 3-й армии, были небольшие, но все мои заявления по этому поводу оставались гласом вопиющего в пустыне.

Лавр Корнилов, 1916 г.

В эту же ночь я получил телеграмму главнокомандующего, в которой впервые сообщалось, что тратить боевые припасы, в особенности артиллерийские снаряды, следует очень осторожно, ибо в запасе их мало. На это я ответил, что при данной обстановке я совершенно отказываюсь объявить приказ об осторожном расходовании огнестрельных припасов и этим обескураживать войска, имеющие против себя многочисленного противника с более могущественной артиллерией, совершенно не жалеющего снарядов, и что в данный момент не время и не место об этом думать.

В 3 часа ночи 29 августа явился ко мне начальник штаба 24-го армейского корпуса генерал-майор Трегубов с просьбой разрешить 48-й пехотной дивизии остаться на занятых ею с вечера местах и не отходить на высоты севернее Николаева. Нужно заметить, что телеграфная и телефонная связь штаба 24-го армейского корпуса со штабом армии была нарушена и диспозиция была доставлена в штаб этого корпуса одним из моих адъютантов на автомобиле, телеграфная же связь была восстановлена лишь к полудню следующего дня. Я спросил начальника штаба корпуса, каким образом командир корпуса, получивший диспозицию к 9 часам вечера, решился не выполнить ее немедленно. Не мог же он не понимать, что отход на назначенную позицию мог быть выполнен лишь ночью, так как с рассвета бой, несомненно, начнется усиленным темпом, и тогда разговора о выполнении диспозиции уже быть не может. Ведь подобным самовольным действием нарушаются мои соображения, и это может повести к глубокому охвату левого фланга армии. На это мне начальник штаба корпуса ответил, что он диспозицию генералу Цурикову не докладывал, а приехал по просьбе начальника дивизии генерала Корнилова. Я ему сказал: «За совершенное вами преступление на поле сражения отрешаю вас от должности и предаю суду». И тут же приказал начальнику штаба армии немедленно передать мое приказание генералу Байову ехать в штаб 24-го корпуса и принять там штаб корпуса, доложив генералу Цурикову, которого он мог увидеть не ранее 6–7 часов. утра, что ни моего разрешения, ни моего запрета уже больше не требуется, ибо к его приезду бой будет в самом разгаре; я приказал передать ему также, что я крайне возмущен, что его начальник штаба им так мало дисциплинирован.

На второй день боя мой правый фланг держался на месте и напор противника стал слабее, чем в предыдущий день; в центре 7-й и 8-й корпуса, хотя и с трудом и большими потерями, также удержались на своих местах; но левый фланг, к сожалению, как я это предвидел, потерпел крушение. 48-я пехотная дивизия была охвачена с юга, отброшена за реку Щержец в полном беспорядке и потеряла 26 орудий. Неприятель на этом фланге продолжал наступление, и если бы ему удалось продвинуться восточнее Николаева с достаточными силами, очевидно, армия была бы поставлена в критическое положение. Я направил на поддержку 24-го корпуса 12-ю кавалерийскую дивизию, бывшую в моем резерве; к тому же времени прибыла и 2-я сводная казачья. Чтобы остановить напор противника, генерал Каледин спешил три полка, имея в резерве Ахтырский гусарский полк и один эскадрон белгородских улан, 2-я же сводная казачья дивизия заполнила разрыв, который оказался между 8-м и 24-м корпусами. Так как спешенные части 12-й кавалерийской дивизии, очевидно, не могли остановить наступавшего многочисленного врага, то в этой крайности Каледин пустил в конную атаку семь вышеперечисленных эскадронов, которые самоотверженно и бешено кинулись на врага. Эта атака спасла положение: наступавшие австрийцы в полном беспорядке ринулись назад и затем ограничились стрельбой на месте, но уже в наступление более не переходили. Я поставил Каледину в вину то, что он вначале спешил семнадцать эскадронов, хотя он не мог не сознавать, что максимум 2000 стрелков не могут остановить не менее двух-трех дивизий пехоты. Вместо этой неудачной полумеры не лучше ли было бы, выбрав момент, атаковать австрийцев всеми 24 эскадронами в конном строю при помощи конно-артиллерийского дивизиона и дивизионной пулеметной команды?

Около полудня того же 29 августа мною было получено донесение генерала Радко-Дмитриева, что его воздушная разведка выяснила:

несколько больших колонн стягиваются к Гродеку и, очевидно, центр тяжести боя переносится к нашему центру. Было ясно из этих сведений, что 30 августа австрийцы предполагают пробить мой центр, разрезать армию пополам и по ближней дороге от Гродека ко Львову захватить этот важный административный и политический пункт. Это чрезвычайно важное и своевременное донесение, которое только и могло быть выяснено воздушной разведкой, дало мне возможность стянуть все мои резервы к 7-му и 8-му корпусам. Таким образом, к рассвету 30 августа в центре моего боевого порядка было мною сосредоточено около 85 батальонов пехоты с их артиллерией из 152 батальонов пехоты, участвовавших в этом сражении, то есть больше половины моей армии. Сюда же был передан дивизион тяжелой артиллерии, находившейся в моем распоряжении.

Мною было приказано 7-му и 8-му корпусам, усиленным указанными выше резервами, перейти в наступление не потому, что они тут же разгромят неприятельские полчища, сосредоточенные против них, но в надежде, что такое наступление именно в том месте, где австрийцы рассчитывали неожиданно нанести нам всесокрушительный удар, собьет их с толку, они растеряются в большей или меньшей степени и перейдут от наступления, которое грозило бы нам тяжелыми последствиями, к обороне. Иначе говоря, я желал во что бы то ни стало вырвать из их рук инициативу действий, что мне и удалось. Правда, 7-й и 8-й корпуса продвинулись недалеко и громадные силы противника скоро остановили наш порыв, но сами-то они, израсходовав свои резервы, принуждены были перейти к обороне.

В этот момент, решавший участь сражения, явился ко мне только что назначенный генерал-губернатор Галиции генерал-лейтенант граф Бобринский, о назначении которого на это место я сведений еще не имел. Он прибыл с несколькими состоявшими при нем лицами с вопросом, может ли он теперь переехать во Львов, чтобы вступить в исполнение своих обязанностей, так как ныне он расположился в г. Броды, то есть на самом краю своего генерал-губернаторства. Я ему ответил, что в данное время это рано: в разгар сражения, от исхода которого будет зависеть, останется ли Львов в наших руках или же придется его уступить врагу (я добавил еще, что надеюсь устоять), пока дело не кончено, уверенно сказать ему, когда он может переехать во Львов, я не могу. Тем более что участь общего сражения на Галицийском фронте зависит не от меня одного, но и от армий, которые в данный момент дерутся севернее моей. Во всяком случае, считаю его переезд во Львов в данный момент совершенно несвоевременным. Должен признаться, я чрезвычайно удивился, что на этот пост был избран генерал граф Бобринский. Я его давно знал как человека очень корректного, безусловно честного, но такого, который во всю свою жизнь, в сущности, никаким делом не занимался и решительно никакого административного опыта не имел и иметь не мог. В молодости он служил в лейб-гусарском полку, а затем почти все время был без дела, исполняя по временам разные поручения. С Галицией он, безусловно, знаком не был, и нужно полагать, что большинство ошибок, которые были им впоследствии совершены во Львове, происходили от неопытности и незнания края.

А. А. Брусилов (в центре) на перроне

30 августа были мною получены сведения, что австрийцы у Равы-Русской сломлены и начали отступать. Они не были совершенно разбиты и не были отрезаны от своего пути отступления, но, во всяком случае, они быстро стали отходить. Это воскресило во мне надежду, что и враг, противостоящий мне, сочтет бесполезной дальнейшую борьбу со мной на гродекской позиции. Дело в том, что из опроса пленных, которых мы забирали целыми толпами, вполне выяснилось, что против моих неполных четырех корпусов австрийцы направили семь армейских корпусов, двадцать одну дивизию пехоты, часть которых была снята с северной части их фронта с приказанием во что бы то ни стало взять Львов обратно. Таким образом, противник, сняв часть своих войск с севера, облегчил положение наших 3-й и 4-й армий, и моя задача главным образом заключалась в том, чтобы выдержать напор вдвое сильнеею противника.

Поздно вечером 30 августа австрийцы по всей линии вновь перешли в короткое наступление, но далеко не решительное и более шумное, чем сильное. Памятуя предыдущие бои, я понял, что, как и прежде, неприятель ночью отойдет и чтобы отход его не был нами замечен, он делает вид, что желает нас атаковать. Поэтому мною было послано приказание зорко следить за действиями противника и двигаться вслед за ним. Наши предвидения оказались верными: неприятель в ночь на 31 августа отошел к западу, перешел через многочисленные мосты реку Верещица с левого на правый берег и разрушил все переправы на ней. Я не мог поставить в вину войскам, что они не успели помешать разрушению переправ. Воистину последний трехдневный бой против сильнеею противника непосредственно после нашего быстрого продвижения вперед и нескольких сражений, нами перед этим выигранных, сильно истомил войска, и нанесенные нам потери были громадны, хотя, понятно, значительно меньше, чем у австрийцев.

К счастью, в таком большом благоустроенном городе, как Львов, при заранее принятых мерах, невзирая на всякие затруднения, явилась возможность удобно разместить несколько тысяч раненых, надлежащим образом призреть их и своевременно перевязать. Эвакуация раненых, которые подлежали перевозке, была тут также налажена удовлетворительно. Я объехал большинство госпиталей, чтобы осмотреть раненых, и роздал нуждающимся деньги, а тяжелораненых награждал георгиевскими медалями.

Мною было приказано быстро восстановить переправы через Верещицу и, не дожидаясь их устройства, немедленно переправить на правый берег команды разведчиков и всю кавалерию для преследования отступавшего противника. Этим частям удалось захватить много обозов, часть артиллерии и многочисленных пленных. В особенности в данном случае отличалась 10-я кавалерийская дивизия, которая во время этих боев перешла из 3-й армии в состав 8-й.

Во время этого жестокого трехдневного сражения жители города Львова, в особенности поляки и евреи, чрезвычайно волновались мыслью о том, в чьи руки они попадут, то есть останутся ли у нас или вновь придут австрийцы. Воззвание Верховного главнокомандующего к полякам тут еще не было известно, и они, а тем более евреи, которые у нас находились в угнетенном положении, а в Австрии пользовались всеми правами граждан, нетерпеливо ждали, что нас разобьют, тем более что австрийское начальство объявило им, что они обязательно на днях вернутся назад. Русины, естественно, были на нашей стороне, кроме партии так называемых мазепинцев, выставивших против нас несколько легионов.

Глава 3

От Львова до Кросно

Насколько мне помнится, 1 сентября получено было приказание немедленно командировать генерала Радко-Дмитриева для принятия

должности командиром 3-й армии, генерал же Ружский назначался главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта вместо генерала Жилинского, который был смещен после крупной неудачи 2-й армии генерала Самсонова в Восточной Пруссии и крайне беспорядочного отступления с большими потерями 1-й армии генерала Ренненкампа.

Яков Григорьевич Жилинский

Являлся вопрос о назначении командира 8-го корпуса взамен Радко-Дмитриева. Старейшим начальником дивизии вверенной мне армии был генерал-лейтенант Орлов; у него была странная репутация за время китайской кампании и в особенности за время японской войны. В китайскую кампанию он якобы старался вырваться из рук своего начальства, чтобы, как говорили, возможно больше заработать дешевых лавров, а в японскую кампанию, по-видимому, ему пришлось расплачиваться за неудачные действия Куропаткина, и считалось, что он был козлом отпущения за проигрыш Ляоянского сражения. Непосредственно перед этой войной он был начальником 12-й пехотной дивизии в 12-м корпусе, которым я командовал. Я видел его на больших маневрах, на которых он действовал отлично; его дивизия вообще была в блестящем порядке, и обучал он ее прекрасно. В нескольких первых сражениях, которые 8-я армия выиграла, действия Орлова были безукоризненны. На основании всего сказанного я просил о назначении генерала Орлова командиром 8-го корпуса, невзирая на то что в мирное время Орлова упорно не удостоивали зачисления кандидатом на должность корпусного командира. Мое представление было уважено, и Орлова назначили на просимую должность.

На основании директивы главнокомандующего все армии фронта двинулись далее на запад, причем вверенной мне армии приказано было двигаться южнее линии Львов — Гродек — Перемышль, и по-прежнему моя задача заключалась главным образом в том, чтобы, находясь на крайнем левом фланге всего нашего фронта, прикрывать его наступление от противника, могущего явиться как с запада, так и с юга. Задача осложнялась по мере нашего дальнейшего продвижения, так как наши коммуникационные линии удлинялись и становилось все более и более трудным прочно обеспечивать наш левый фланг и тыл от покушений противника. Мне казалось, что с нашим продвижением вперед мою армию необходимо постепенно усиливать, тем более что во время Гродекского сражения мне пришлось единственную пехотную бригаду, обеспечивавшую наш тыл с левого фланга, притянуть к себе. По окончании этого сражения, после понесенных значительных потерь, армия, не получая пополнений, настолько была ослаблена, что я не нашел возможным отправить эту бригаду обратно на правый берег Днестра, а присоединил ее к ее дивизии. Я настоятельно просил главнокомандующего усилить армию на один корпус, ибо на правом берегу Днестра, на протяжении приблизительно около 200 верст, этот фланг оберегался всего тремя Кавказскими казачьими дивизиями, что, понятно, было недостаточно. Результатом моих препирательств по этому поводу явилось назначение второочередной 71-й пехотной дивизии на замену снятой мной бригады. Пока этого было достаточно, ибо принципиально без крайней необходимости я считал недозволительным просить лишних подкреплений и сгущать краски, так как в это время на этом фланге находились лишь незначительные неприятельские силы, по преимуществу части ландштурма, которые не могли представить собой какой-либо серьезной угрозы для нашего тыла. Так как в тылу на правом берегу Днестра находилась теперь одна дивизия пехоты и три дивизии казаков, имевших однородную задачу, то по моему ходатайству эти части были объединены в одних руках в лице командира корпуса, которому был присвоен 30-й номер, в него и вошли эти четыре дивизии.

Покончив с тыловыми вопросами и удостоверившись, что и сам армейский тыл приходит в большую степень порядка, я перенес свой штаб из Львова в Любень-Вельки. Вся же моя армия находилась уже на правом берегу Верещицы, и я двинул ее вперед, на линию Перемышль — Низанковице — Добромиль — Хырув, выслав, согласно директиве главнокомандующего, 10-ю и 12-ю кавалерийские дивизии вперед, на линию Дынув — Санок по реке Сан и далее, дабы не терять соприкосновения с противником, а 2-ю сводную казачью дивизию — через Самбор, Старое Место в Карпаты к г. Турка, чтобы по возможности захватить и держаться на перевале большого шоссе, идущего от Венгерской долины. Противник, оставив значительный гарнизон в крепости Перемышль, отошел в западном направлении на левый берег Сана, где и остановился, чтобы привести себя в порядок после понесенных сильных неудач.

Мне казалось, что давать оправиться противнику не следовало и было необходимо, идя за ним по пятам, довершить его разгром, оставив лишь у Перемышля сильный обсервационный корпус. Против этого, конечно, можно было возразить, но наши коммуникационные линии удлинились бы чрезмерно, а они и без того были не в порядке, а в Львовском железнодорожном узле сразу же водворился полный хаос, и он был забит в такой степени, что мы стали получать довольствие всякого рода с большим опозданием. Я был бессилен помочь этому горю, так как это была область главного начальника снабжения армий фронта, подчиненного главнокомандующему фронтом, и на мои протесты и жалобы обращалось мало внимания. Думаю, однако, что при желании и умении была возможность быстро привести тыл в порядок и в то же время довершить поражение уже разбитых войск противника, не допустив его вновь укрепнуть благодаря пополнениям, подкреплениям и отдыху.

Обложение Перемышля было поручено новому командующему 3-й армией Радко-Дмитриеву. Когда он был командиром 8-го армейского корпуса во вверенной мне армии, а также по предыдущим действиям в болгаро-турецкую войну, я составил себе о нем представление как о человеке чрезвычайно решительном, сообразительном и очень талантливым; ни малейшим образом я не сомневался, что он и в данном случае развернет присущие ему боевые качества и попытается взять Перемышль сразу, что развязало бы нам руки,крепило бы за нами Восточную Галицию и дало бы возможность невозбранно двигаться дальше, не оставляя за собой неприятельской крепости и осадной армии. Действительно, после ряда поражений и громадных потерь австрийская армия была настолько потрясена, а Перемышль был настолько мало подготовлен к осаде, гарнизон же крепости, состоявший из части разбитых войск, был настолько расстроен, что, по моему глубокому убеждению, была возможность в половине сентября взять эту крепость штурмом при небольшой артиллерийской подготовке. Но время проходило, а никаких поползновений к захвату Перемышля не предпринималось. Это дело меня не касалось, и потому я считал себя не вправе вмешиваться в предначертания моего соседа и тем или иным способом влиять на его решение.

Маскировка позиции пулемета

До конца сентября мы стояли бездейственно на назначенной нам линии и вполне отдохнули. Одно меня озабочивало, это — далеко не достаточный прилив пополнений, да и те, которые прибывали, были не в должной мере подготовлены к боевой деятельности. Относил я это к тому, что запасные батальоны были только что сформированы и не втянулись еще в свою работу в полной мере. Но я в этом, к сожалению, сильно ошибался: за всю войну мы ни разу не получали хорошо обученных пополнений, и, чем дело шло дальше, тем эти пополнения прибывали не только всё хуже и хуже обученными своему делу, но и плохо подготовленными в моральном отношении. По-

прежнему никто не мог мне дать ответа при моих вопросах, какой смысл этой войны, из-за чего она возникла и каковы наши цели. В этом отношении нельзя не обвинять военное министерство, столь плохо поставившее дело в наших запасных войсках.

В конце сентября крупные шероховатости в железнодорожной работе, в особенности в Львовском железнодорожном узле, стали усиливаться, и на львовской станции пути были настолько забиты, что получилась основательная пробка и не было никакой возможности разобраться в грузах и своевременно отправлять их по принадлежности. Это дело мне было неподведомственно, но, видя, что мои жалобы не приводят ни к чему, я самовольно командировал во Львов, чтобы привести в порядок этот важнейший железнодорожный узел, генерала Добрышина, специалиста железнодорожного дела, который, поскольку это оказалось ему возможным, не имея никакой власти, разобрался в беспорядках этого узла и по возможности разгрузил его. Положение его было очень щекотливое и тяжелое, ибо, как я только что сказал, Львов, вышедший из района моей армии, мне ни с какой стороны подчинен не был и я тут вмешался не в свое дело, но так как благосостояние моей армии от беспорядка на железных дорогах начало страдать, а моим воплям никто не внимал, то скрепя сердце я захватным правом назначил генерала Добрышина начальником Львовского узла. Должен признать, что если раньше никто не внимал моим жалобам, то и тут мне никто не мешал распоряжаться в чужом ведомстве.

Во второй половине сентября было объявлено о формировании 11-й армии, целью которой была осада Перемышля и в состав которой должны были войти несколько второочередных дивизий и бригад ополчения. Командующим армией был назначен генерал Селиванов. Это был старый человек, выказавший в японскую кампанию не столько военные дарования, сколько твердость характера во время восстания во Владивостоке при революционном движении, охватившем всю Россию в 1905–1906 гг. Он был человек упрямый, прямолинейный и, по моему мнению, мало пригодный к выполнению возложенной на него задачи.

Наши дела севернее 3-й армии шли в это время довольно неважно, и все внимание главнокомандующего и штаба Юго-Западного фронта было направлено на фронт реки Вислы, группа же армий 3-й, 11-й и 8-й была поручена мне, и была отдана директива временно держаться на месте. На этом основании я перенес свой штаб в Садову Вишню, как пункт более центральный для выполнения новой возложенной на меня задачи.

Командовать осадой Перемышля до прибытия генерала Селиванова был назначен командир 9-го корпуса 3-й армии генерал Щербачев, которого я давно знал по Петербургу. Он доложил мне, что по его мнению, вынесенному по близком ознакомлении с положением дел, Перемышль и в настоящее время взять штурмом легко и за удачу он ручается. Предложение было очень соблазнительное, даже если предполагать, что потери будут значительны, ибо с падением Перемышля вновь сформированная 11-я армия имела бы развязанные руки и значительно усилила бы фронт 3-й и 8-й армий. Кроме того, было несомненно, что противник, ввиду общего положения дел и нашего бездействия на левом фланге, в ближайшем будущем предпримет сильные наступательные действия, для того чтобы освободить Перемышль — важнейшую первоклассную крепость Австро-Венгерской империи. С падением Перемышля этот момент отпал бы и мы могли бы развить безбоязненно дальнейшие наступательные операции, которые имели бы благотворное влияние на длительное сражение на Висле. Все вышеизложенное склонило меня согласиться на штурм Перемышля.

Изложив все только что перечисленные доводы главнокомандующему, я испросил его разрешения на производство этой операции, на что и получил утвердительный ответ. Я сознавал, что, в сущности, время для взятия Перемышля нахрапом прошло и что теперь это дело гораздо труднее и не сулит, как недели три тому назад, верной удачи, но выгоды взятия Перемышля были настолько велики, что стоило рискнуть. При составлении плана атаки Перемышля у меня возникло некоторое разногласие с генералом Щербачевым. По его мнению, следовало атаковать важнейшую группу восточных фортов, наиболее современных и сильно укрепленных, в особенности Седлисских. Щербачев полагал, что с падением этих фортов австрийцам держаться далее в Перемышле было бы невозможно. Соглашаясь с этим мнением, я, однако, полагал, что взятие живой силы восточных фортов, в особенности Седлисских, было проблематично и что атака западных фортов, наименее вооруженных, сулит большой успех и отрезает крепостной гарнизон от его путей отступления. Затруднительность атаки Перемышля состояла главным образом в том, что неприятельская армия, отошедшая на запад и находившаяся в то время в трех-четыре переходах от Перемышля, успела уже оправиться и пополниться. Следовательно, она должна будет немедленно перейти в наступление, дабы помочь Перемышльскому гарнизону и не допустить падения этой крепости. Было необходимо предусмотреть тот случай, что встреча с армией противника произойдет не во время штурма крепости, для чего надо было успеть построить боевой фронт в целях парирования атаки противника. Решено было сначала атаковать восточную группу фортов, чтобы привлечь внимание и резервы противника в эту сторону, а с остальных сторон охватить Перемышль и брать штурмом форты с северо-запада и юго-запада. Кавалерии было приказано усугубить свое внимание и усиленно производить разведывание, дабы она могла своевременно нас известить о переходе неприятеля в наступление.

В это время 2-я сводная казачья дивизия, направленная мною, как было выше сказано, в Карпаты, к г. Турка, была остановлена, а затем ее начала теснить венгерская дивизия, и генерал Павлов просил помощи, чтобы приостановить контрнаступление венгров. Мною было приказано генералу Цурикову выслать из 24-го армейского корпуса один пехотный полк для подкрепления казаков.

Командующий 3-й армией генерал Радко-Дмитриев в то же время настоятельно просил подкрепить его армию, опасаясь, что иначе он не будет иметь возможности удержаться на левом берегу Сана севернее Перемышля. Я находил эти опасения преувеличенными, но главнокомандующий приказал передать ему 7-й армейский корпус, что мною и было исполнено; 12-й корпус с генералом Лещем во главе я назначил в помощь войскам генерала Щербачева для атаки Перемышля, и таким образом южнее Перемышля в это время осталось два корпуса — 8-й и 24-й.

Для атаки Перемышля помимо частей формировавшейся 11-й армии были назначены из 12-го корпуса 19-я пехотная дивизия для штурма фортов Седлисской группы и 12-я пехотная дивизия, которая должна была способствовать овладению северо-западными фортами, наиболее слабыми; юго-западные форты предназначались 3-й стрелковой бригаде; для артиллерийской подготовки штурма фортов Седлисской группы были собраны два дивизиона тяжелой артиллерии и два мортирных. Артиллерийская подготовка не могла быть продолжительной и достаточно интенсивной по недостатку снарядов, но тем не менее стрельба велась удачно, и неприятельский артиллерийский огонь подавлялся нашей артиллерией, так как, уступая австрийской в количественном отношении и калибром орудий, наша артиллерия качеством стрельбы была неизмеримо выше.

Генерал Щербачев, ведший эту операцию против Перемышля, был вполне убежден в благоприятных результатах нашего предприятия

против этой крепости, и действительно, два форта Седлисской группы были взяты штурмом 19-й пехотной дивизией, причем особенно отличился Крымский полк. Все внимание осажденных, как мы и желали, и большая часть его резервов были притянуты к Седлисской группе, и становилось более удобным начать атаку северо-западных и юго-западных фортов. Но в это время случилось то, чего мы опасались. Австрийская армия перешла в наступление для спасения Перемышля. Австрийцы могли к нам свободно подойти в четыре перехода и вступить с нами в бой. Явилась необходимость быстро прекратить штурм Перемышля, ибо силы врага, по нашим сведениям, превышавшие наши, направлялись частью против 3-й армии, а частью против 8-й.

Имея в этот момент всего два корпуса, которые ни в коем случае не могли бы сдержать наступающего врага, я, обсудив с генералом Щербачевым положение дела, пришел к заключению, что штурм Перемышля требовал, по всей вероятности, еще дней пять-шесть, которых у нас в распоряжении не оказывалось, а потому пришлось отказаться от этой выгодной операции, отозвать 12-й корпус из Перемышля и приказать 11-й армии снять осаду этой крепости и занять позицию, примыкая своим правым флангом к левому флангу 3-й армии и левым — к правому флангу 8-й армии.

Австрийские солдаты в окопах

Мои три корпуса заняли приблизительно фронт от деревни Поповище до г. Старое Место; это было в последних числах сентября. Так как 3-я армия входила в состав порученной мне группы, то генерал Радко-Дмитриев донес мне, что он считает рискованным оставаться на левом берегу Сана, имея эту реку в своем тылу при недостаточном количестве переправ, и спрашивал моего согласия на отвод армии на правый берег Сана. Должен сознаться, что такое предположение Радко-Дмитриева мне несколько не улыбалось по той простой причине, что хотя отведенная за реку 3-я армия при сильном осеннем разливе, несомненно, находилась бы вне каких-либо покушений противника, но и сама она не могла бы ничего против него предпринять. Нетрудно было догадаться, что, имея Перемышль в своих руках, австрийцы, оставив перед 3-й армией небольшие силы, перебросят большую часть своих войск с севера на юг, и моя малочисленная армия, ничем не прикрытая с фронта, могла оказаться в критическом положении, имея на своих плечах подавляющие неприятельские силы. Мне, однако, трудно было не согласиться с генералом Радко-Дмитриевым на отход его армии за Сан потому, что в случае какой-либо крупной неудачи у него он стал бы, несомненно, ссылаться на то, что из-за эгоистических личных видов я подверг его опасности поражения. Мне, заинтересованному в этом деле лицу, по военной этике, было невозможно достаточно сильно бороться с его желанием. Я надеялся, что главнокомандующий рассудит нас и решит на пользу общего дела. К сожалению, в своих предположениях я ошибся, и Радко-Дмитриеву было разрешено, в сущности говоря, бросить мою армию на произвол судьбы. В таком тяжелом положении мне оставалось лишь одно: вынуждены из 3-й армии 7-й армейский корпус и впоследствии еще одну пехотную дивизию, дабы хоть сколько-нибудь уравновесить мои силы с силами противника.

Как бы то ни было, я успел построить фронт армии ко времени подхода австрийцев и, по своему обыкновению, при их приближении перешел в наступление для нанесения короткого удара, дабы спутать их карты. Это мне и на сей раз удалось. Дело в том, что дорог южнее Перемышля мало, местность гористая и глубокие колонны австрийцев, не имея возможности своевременно разворачиваться, должны были принимать бой при невыгодных для них условиях своими головными частями. Из подслушанных телефонных разговоров, приказаний и донесений явствовало, что в первых числах октября австрийцы считали себя в чрезвычайно тяжелом положении, даже критическом; начальство их подбадривало, сообщая, что севернее Перемышля русские отошли за Сан и что австрийские войска в ближайшем будущем получат богатое подкрепление.

Тут впервые с начала этой кампании вверенной мне армии пришлось около месяца вести позиционную войну при крайне невыгодных для нее условиях. Правый фланг армии чуть не упирался в неприятельскую крепость, 11-я армия, состоявшая из второочередных дивизий и бригад ополчения, была малоустойчива, приходилось ее постоянно поддерживать, а противник все более и более на нас нападал с фронта, постоянно увеличивая свои силы. Одновременно с этим начало обнаруживаться наступление значительных сил против моего левого фланга с Карпат, которое охватывало 24-й корпус; кроме того, также относительно значительные силы стали наступать от Сколе и Болехува на Стрый — Николаев прямым направлением на Львов, нам в тыл. На мои настоятельные требования прислать мне подкрепления ввиду многочисленности врага и крайне тяжелой стратегической обстановки главнокомандующий ограничился лишь тем, что распорядился начать эвакуацию Львова, и я был, можно сказать, брошен, как будто бы уничтожение моей армии, выход противника мне в тыл и захват им Львова не представляли одинаково важного интереса для всех нас.

Должен признать, что я до настоящего времени не могу никак понять такое странное, ничем не объяснимое отношение к моей армии, которое могло иметь крайне тяжелые и печальные последствия не только для нее, но и для всего Юго-Западного фронта. Мне и до сего дня не удалось узнать, какие соображения в данном случае руководили генералом Ивановым и бывшим тогда его начальником штаба генералом Алексеевым. В войсках моих ходили чрезвычайно тяжелые пересуды. Мне передавали, что в штабе Юзфронта было обычно выражение: «Брусилов выкрутится» или: «Пусть выкручивается». Это, конечно, сплетня, но характерная сплетня, и не следовало шутить с народным негодованием, давая повод к таким сплетням. Ведь масса солдатская прислушивалась к этим разговорам и добавляла от себя: «Конечно, генерал выкрутится, да только нашей кровью и костями». Бодрости духа, столь необходимой во время войны, это не прибавляло.

Итак, я был атакован с фронта почти двойными силами противника. Производился охват моего левого фланга войсками, спускавшимися с Карпат от Турки, и, наконец, направлением на Стрый — Николаев — Львов выходили ко мне в тыл неприятельские силы, значительно превышавшие. во всяком случае, войска, которые должны были охранять его. На моем фронте стоял я довольно крепко, но меня тревожил левый фланг 11-й армии, который обстреливался тяжелой артиллерией крепости Перемышль и был недостаточно устойчив. Кроме того, одна из второочередных дивизий, в одну не прекрасную ночь атакованная 11-м австрийским корпусом, бросила свои окопы, очистив их совершенно. При расследовании нельзя было выяснить, кто в этом виноват: командир бригады докладывал, что получил категорическое приказание начальника дивизии, а начальник дивизии столь же категорически отказывался от отдачи такого распоряжения. Так или иначе, но вследствие этого обстоятельства неприятель хлынул большими силами в образовавшийся прорыв.

К счастью, австрийцы, врезавшись в наше расположение, запутались в лесу, и это помешало им использовать достаточно быстро одержанный ими успех. Получив тотчас же телеграфное извещение о прорыве нашего фронта, я направил туда 9-ю и 10-ю кавалерийские дивизии, стоявшие у меня в резерве, которым приказал во что бы то ни стало локализовать этот прорыв и не дать австрийцам

возможности проникнуть глубже в наше расположение. Вместе с тем мною было приказано командиру 12-го корпуса энергично атаковать австрийцев в занятом ими лесу и восстановить положение; кроме того, самовольно ушедшей из своих окопов дивизии приказал вернуться. Эта второочередная дивизия имела мало офицеров, да и те оказались не на высоте своего положения. Тут пришла на помощь кавалерийская дивизия, которая выделила по собственной инициативе часть своих офицеров, добровольно вызвавшихся принять на себя командование ротами и батальонами этой сплывавшей дивизии и водворить в них порядок. Солдаты с радостью приняли своих новых командиров и охотно, с усердием исправили свою ошибку, взяв обратно брошенные ими окопы. В общем же для усиления этой части фронта пришлось двинуть мой последний резерв, находившийся в Мосьциске, в распоряжение командира 12-го корпуса. Таким образом, хотя и с большим трудом, наш фронт был восстановлен, а прорвавшийся 11-й австрийский корпус был отброшен. Хотя под огнем тяжелой артиллерии Перемышля держаться на стыке двух армий было трудно, однако этот искус войска выдержали до конца сидения на этих позициях.

Еще труднее было положение на левом фланге армии, и туда уже раньше пришлось направить все резервы, находившиеся в моем распоряжении, передав их командиру 24-го корпуса генералу Цурикову, дабы парировать охват левого фланга армии.

Генерал Цуриков предложил собрать возможно большее количество войск, из числа данных ему, на его крайнем левом фланге на правом берегу Днестра и с этими войсками перейти в наступление, дабы отвратить охват этого фланга. Для этого требовалось не только отбросить противника и оставить заслон к югу против войск, наступавших с Турки, но и попытаться самому произвести охват правого фланга армии противника. Я охотно одобрил это предложение, ибо считал и считаю, что лучший способ обороны — это, при мало-мальской возможности, переход в наступление, то есть обороняться надо не пассивно, что неизменно влечет за собой поражение, а возможно более активно, нанося противнику в чувствительных местах сильные удары. Таким образом, я надеялся обеспечить себя и с левого охватываемого фланга.

Оставалось развернуться и измыслить способ парирования наступления противника на Львов через Николаев. К счастью для меня, выяснилось, что австрийцы, рассчитывая лишь на разбросанные части войск, которые держались мною на правом берегу Днестра, и на невозможность собрать их все в один пункт, направили на Стрый — Николаев недостаточные силы, тогда как при несколько ином распределении их, послав туда не менее двух-трех корпусов, австрийцы имели возможность заставить нас значительно отойти к востоку, что повлекло бы за собой грандиозные и тяжелые для всего фронта последствия. Однако чтобы отбросить противника, выходившего ко мне в тыл, мне было необходимо послать к Николаеву не менее одной дивизии пехоты, ибо спешно собранные у Стрыя несколько батальонов 71-й пехотной дивизии были выбиты оттуда и с боем медленно отходили к Николаеву. Дивизия казаков по вине ее начальника не выполнила данной ей задачи и отошла без приказа от Стрыя на Дрогобыч, за что этот начальник дивизии и был мною отрешен от командования. Резервов у меня больше никаких не было, ибо за время боев на фронте я принужден был их расходовать, как выше было сказано. С боевого фронта ни одного солдата снять было невозможно вследствие несоразмерности сил противника с нашими. Тогда я решил снять одну дивизию, именно 58-ю, стоявшую на пассивном участке 11-й. армии, то есть на правом берегу Сана, севернее Перемышля. Вся трудность этого дела заключалась в том, что ее необходимо было возможно быстрее перекинуть к Николаеву, дабы не допустить противника, двигавшегося от Стрыя, переправиться на левый берег Днестра.

Нужно отдать справедливость 8-му железнодорожному батальону, который мне совсем и подчинен не был. Он, понимая необходимость быстроты перевозки, сделал в полном смысле этого слова невозможные усилия и с поразительной быстротой выполнил свою задачу. Пехота перевозилась по железной дороге, артиллерия же двигалась по шоссе переменными аллюрами и так же своевременно подошла к Николаеву. Обозы шли тоже по шоссе сзади. Начальник этой дивизии, с которым, вызвав его, я подробно переговорил в штабе армии, генерал Альфтан исполнил свою задачу блестяще. Еще с не вполне собранными частями своей дивизии, видя, что время не терпит, он из Николаева перешел в наступление, принял на себя отступавшие части 71-й пехотной дивизии и стремительно атаковал австрийцев севернее Стрыя. После двухдневного упорного боя враг был разбит и, бросив Стрый, стал отходить на Сколе и Болахув. Таким образом, приблизительно в начале второй половины октября я обеспечился и с тыла. В это же время мой левый фланг перешел в наступление и в тяжелых непрерывных боях стал постепенно отбрасывать противника к востоку и частью к югу, по направлению к Турке, но сильно охватить правый фланг фронта австрийцев не представлялось возможным по недостатку сил.

Как бы то ни было, но к концу октября мне удалось удержаться прочно на месте, прикрыть Львов с юга и выполнить мою задачу — охранять левый фланг всего фронта русской армии.

Но положение мое было невеселое, вернее сказать, чрезвычайно трудное и тяжелое; мы дрались уже беспрерывно около месяца против сильнейшего противника, а подкрепления никакого не получали; невзирая на все мои требования, к нам прибывали пополнения лишь в самом незначительном размере. Да и пополнения эти, к сожалению, были плохо обучены и совершенно не подготовлены к ведению боя в строю, так что при постоянной убыли в войсках убитыми, ранеными и больными ряды их таяли и полки делались все более и более жидкими; утомление войск было чрезвычайное. В это-то критическое время приехал ко мне в штаб армии принц Александр Петрович Ольденбургский, стоявший во главе всей санитарной части вооруженных сил России. Он горячо принял к сердцу тяжелое положение 8-й армии и протелеграфировал об этом прямо Верховному главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу. В Ставке, по-видимому, только тогда поняли, в каком мы находились положении. Очевидно, штаб фронта или не хотел или не мог себе дать правильного отчета о состоянии, в котором я нахожусь, предполагая, вероятно, что я сгущаю краски. Иного объяснения я дать не могу. Верховный главнокомандующий приказал немедленно направить в 8-ю армию две пехотные дивизии на усиление. Из них первая, переводившаяся ко мне 12-я Сибирская стрелковая дивизия до меня доехала довольно быстро, но следующая дивизия была перехвачена на пути штабом фронта и направлена в 3-ю армию.

Я рассчитывал по прибытии этих двух дивизий собрать кулак и вместе с 8-м корпусом совершить прорыв фронта противника направлением на Хырув. Но как я только что сказал, вторая дивизия, шедшая мне на подкрепление, до меня не дошла, а 12-ю Сибирскую дивизию пришлось передать в 24-й корпус. Так как с одной дивизией прорывать фронт было нельзя, то я предпочел усилить левый фланг, чтобы действовать не прорывом, а охватом. Этот охват в данном случае мог дать менее решительные результаты, чем прорыв у Хырува, но, делая левый фланг более сильным, я питал надежду окончательно отбросить противника, наступавшего от Турки за перевал. Командир 24-го корпуса, однако, вследствие чрезвычайной слабости 48-й и 49-й пехотных дивизий, представлявших собой лишь слабые остатки бывших частей войск, принужден был двинуть их не к Турке, в направлении к которой действовали наши 65-я пехотная дивизия и

4-я стрелковая бригада, а для усиления двух вышеупомянутых дивизий.

В это время по приказанию главнокомандующего, сообразно с общим положением дела, 3-я армия стала опять переходить на левый берег Сана. Этим она, притягивая на себя часть неприятельских сил, несколько облегчила действия 8-й и 11-й армий. При предыдущем переходе 3-й армии с левого берега на правый она неосторожно уничтожила все свои переправы, и теперь ей пришлось под огнем противника опять их восстанавливать, неся излишние потери. В конце октября наши летчики донесли, что заметили длинные обозные колонны, отходившие от фронта противника к западу; это, очевидно, было признаком того, что австрийцы считали это длительное сражение проигранным и готовили свой отход. Немедленно мною было отдано приказание всеми войсками подготовиться к решительному наступлению и тотчас же атаковать врага. Действительно, противник начал отходить в ту же ночь, а вверенная мне армия с рассвета атаковала аррьергарды и с боем продвигалась вперед, захватывая пленных, орудия и обозы, невзирая на крайнее утомление наших войск.

Это сражение под Перемышлем, непрерывно длившееся в течение месяца, было последнее, о котором я мог сказать, что в нем участвовала регулярная, обученная армия, подготовленная в мирное время. За три с лишком месяца с начала кампании большинство кадровых офицеров и солдат вышло из строя, и оставались лишь небольшие кадры, которые приходилось спешно пополнять отвратительно обученными людьми, прибывшими из запасных полков и батальонов. Офицерский же состав приходилось пополнять вновь произведенными прапорщиками, тоже недостаточно обученными. С этого времени регулярный характер войск был утрачен и наша армия стала все больше и больше походить на плохо обученное милиционное войско. Унтер-офицерский вопрос стал чрезвычайно острым, и пришлось восстановить учебные команды, дабы спешным порядком хоть как-нибудь готовить унтер-офицеров, которые, конечно, не могли заменить старых, хорошо обученных.

Приходится и тут обвинить наше военное министерство в непродуманности его действий по подготовке к войне. Офицеры, как выше было сказано, приходили к нам совершенно неподготовленными и не в достаточном количестве. Унтер-офицеры, которых в запасе было очень много, не были взяты на особый учет как специальный низший начальствующий состав, весьма ценный для надлежащего его использования, а присылались в числе рядовых. Таким образом, во время мобилизации и в начале кампании у нас был значительный излишек унтер-офицеров, а потом их совсем не стало, и мы, ведя боевые действия, принуждены были в тылу каждого полка иметь свою учебную команду. Наконец, прибывавшие на пополнение рядовые в большинстве случаев умели только маршировать, да и то неважно; большинство их и рассыпного строя не знали, и зачастую случалось, что даже не умели заряжать винтовки, а об умении стрелять и говорить было нечего. Приходилось, следовательно, обучать в тылу каждого полка свое пополнение и тогда только ставить в строй. Но часто во время горячих боев, при большой убыли, обстановка вынуждала столь необученные пополнения прямо ставить в строй. Понятно, что такие люди солдатами зваться не могли, упорство в бою не всегда оказывали и были не в достаточной мере дисциплинированы. Чем дальше, тем эти пополнения приходили в войска все хуже и хуже подготовленными, невзирая на все протесты, жалобы и вопли строевых начальников. Многие из этих скороспелых офицеров, унтер-офицеров и рядовых впоследствии сделались опытными воинами, и каждый в своем кругу действий отлично выполнял свои обязанности, но сколько излишних потерь, неудач и беспорядка произошло вследствие того, что пополнения приходили к нам в безобразно плохом виде!

Вверенная мне армия, гоня противника перед собой, продолжала быстро наступать к линии Дынув — Санок, по реке Сан, куда противник спешно отступал. Река Сан не была препятствием для наших войск в это время года, и мы легко и быстро перешли через нее и отбросили австрийцев дальше на запад. Противник, слабо сопротивляясь, отошел на свои заранее приготовленные позиции, прикрывая карпатские проходы, чтобы не допустить нас спуститься в Венгерскую равнину. Таким образом, неприятель занял фланговую позицию по отношению к 8-й армии. В то же время 3-я армия, двигаясь севернее Перемышля и не имея перед собой больших сил противника, стремительно подходила к Кракову.

К моему удивлению, я к этому времени получил директиву главнокомандующего, в которой значилось, чтобы я занял частью своих сил карпатские проходы, а сам с главными моими силами спешил к тому же Кракову, дабы поддержать и охранять левый фланг 3-й армии и способствовать взятию Краковской крепости. Имея на левом фланге моей армии свыше четырех неприятельских корпусов, которые, несомненно, ударили бы мне в тыл и лишили бы меня моих путей сообщения, я донес, что это приказание я выполнить не могу до тех пор, пока не разобью окончательно противника и не сброшу его с Карпатских гор. Из четырех имевшихся у меня корпусов один из них, а именно 7-й корпус, оставлен был для охраны моего левого фланга и прикрытия осады крепости Перемышля. Какой я мог оставить заслон против четырех австрийских корпусов из числа трех корпусов, имевшихся в моем распоряжении? Если бы я даже решился оставить два корпуса, то двинуть дальше к западу я мог лишь один, при большой вероятности, что и при этих условиях два корпуса, растянутые на 100 верст, были бы прорваны, а армия моя по частям была бы разбита. Изложив все вышесказанное, я дополнительно донес, что в данное время мои войска всеми своими силами атакуют армию противника, занявшую фланговую позицию, и что пока я ее не разобью, я дальше идти не могу.

На это мне было отвечено, что время не терпит, что 3-я армия может оказаться в критическом положении и что мне приказывается возможно быстрее разбить врага и, не задерживаясь, спешить дальше на запад на поддержку 3-й армии. На это я опять ответил, что в данный момент я этой директивы выполнить не могу, времени не теряю, веду непрерывно бой, но определить, когда противник будет разбит, точно не могу. Одновременно я доносил, что, ведя непрерывные бои в Карпатских горах, моя армия оказалась в ноябре голой, летняя одежда истрепалась, 128 сапог нет и войска, находясь по колено в снегу и при довольно сильных морозах, еще не получили зимней одежды. Я прибавлял, что считаю это преступным со стороны интендантства фронта и требую быстрой присылки сапог, валенок и теплой одежды. Вслед за этим я уже от своего имени, не надеясь более на распорядительность интендантства, отдал приказание приобретать теплые вещи в тылу и быстро везти их к армии. Должен к этому добавить, что вопрос о теплой одежде мною был поднят еще в сентябре, но как мне было разъяснено, считалось, что необходимо сначала снабдить теплыми вещами войска Северо-Западного фронта вследствие более сурового там климата, но не было принято в расчет, что в Карпатах зима еще более суровая и что войскам, находящимся в горах, также, и еще в большей степени, требуется зимняя одежда. Во всяком случае, казалось бы, в ноябре можно уже было снабдить все войска теплой одеждой. Я считал, что это была преступная небрежность интендантства.

Вскоре я получил опять телеграмму главнокомандующего, в которой он упрекал меня, что я увлекаюсь собственными целями, излишне задерживаюсь боем с австрийской армией, преграждающей мне путь в Венгерскую долину, и что я под благовидным предлогом не желаю

выполнить его директивы. Таков был смысл этой неприятной для меня телеграммы. Пришлось ему ответить, что я решительно не могу понять, каким образом я брошу противника, еще вполне боеспособного, более многочисленного, чем моя армия, и каким образом, оставив его на моем фланге в тылу, я покину свои коммуникационные линии. Ведь этим мне придется открыть ему путь к Перемышлю и Львову, а самому устраивать новую базу для армии на Ржешув — Ланцут — Ярослав; я считал, что подобная перспектива равняется поражению.

Должен оговориться, что с начала войны я никак не мог узнать плана кампании. Когда я занимал должность помощника командующего войсками Варшавского военного округа, выработанный в то время план войны с Германией и Австро-Венгрией мне был известен; он был строго оборонительный и во многих отношениях, по моему мнению, был составлен неудачно. Он и не был применен в действительности, а по создавшейся обстановке мы начали наступательную кампанию, которую не подготовили. В чем же заключался наш новый план войны, представляло для меня полную тайну, которой не знал, по-видимому, и главнокомандующий фронтом. Легко может статься, что и никакого нового плана войны создано не было и действовали лишь случайными задачами, которые определялись обстановкой. Как бы то ни было, мне казалось чрезвычайно странным, что мы без оглядки стремимся только вперед, не обращая внимания на близкий мне левый фланг, что мы удлиняем наши пути сообщения, растягивая наши войска до бесконечности по фронту, не имея достаточно сильных резервов, без которых, как уже выяснилось, мы не можем быть обеспеченными не только от разных неприятных сюрпризов, но и от той или иной катастрофы, могущей перевернуть столь удачно начатую войну. Опасность разброски сил при постоянно увеличивающихся наших коммуникационных линиях усугублялась еще тем, что мы постепенно получали настоятельные предупреждения, что огнестрельных припасов осталось мало, в особенности артиллерийских снарядов, и что нет оснований ожидать в скором будущем исправления этого ужасного положения.

Во второй половине ноября 8-я армия, беря одну неприятельскую позицию за другой, разбила противника и заставила его отступить на южную сторону Карпат, но эти бои, чрезвычайно тяжелые и ожесточенные, которые притом нужно было вести с наивозможно меньшей тратой снарядов и патронов, выбивая шаг за шагом противника с одной вершины на другую, дорого стоили нашим войскам, и потери наши были значительны. Каждая вершина на этих позициях была заранее сильнееим образом укреплена при трех— и четырехъярусной обороне, и мадьяры (в особенности) со страшным упорством отчаянно защищали доступ к Венгерской равнине, в которую, впрочем, мы в данное время не стремились. Наиболее упорные бои пришлось вести у Мезо-Лаборца, где главная тяжесть боя выпала на долю 8-го корпуса во главе с генералом Орловым.

Странное было положение этого генерала: человек умный, знающий хорошо свое дело, распорядительный, настойчивый, а между тем подчиненные войска не верили ему и ненавидели его. Сколько раз за время с начала кампании мне жаловались, что это — ненавистный начальник и что войска глубоко несчастны под его начальством. Я постарался выяснить для себя, в чем тут дело. Оказалось, что офицеры его не любят за то, что он страшно скуп на награды, с ними редко говорит и, по их мнению, относится к ним небрежно; солдаты его не любили за то, что он с ними обыкновенно не здоровался, никогда не обходил солдатских кухонь и не пробовал пищи, никогда их не благодарил за боевую работу и вообще как будто бы их игнорировал. В действительности он заботился и об офицере и о солдате, он всеми силами старался добиваться боевых результатов с возможно меньшей кровью и всегда ко мне приставал с просьбами возможно лучше обеспечивать их пищей и одеждой; но вот сделать, чтоб подчиненные знали о его заботах, — этим он пренебрегал или не умел этого. Знал я таких начальников, которые в действительности ни о чем не заботились, а войска их любили и именовали их «отцами родными». Я предупреждал Орлова об этом, но толку было мало, он просто не умел привлекать к себе сердца людей. Как бы то ни было, но тут он работал хорошо и со своим корпусом дело сделал.

В это же время 24-й корпус наступал несколько восточнее, от Лиско на Балигруд, Цисну и Росток. И этому корпусу было приказано не спускаться с перевала, но тут генерал Корнилов опять проявил себя в нежелательном смысле: увлекаемый жадной отличиться и своим горячим темпераментом, он не выполнил указания своего командира корпуса и, не спрашивая разрешения, скатился с гор и оказался, вопреки данному ему приказанию, в Гуменном; тут уже хозяйничала 2-я сводная казачья дивизия, которой и было указано, не беря с собой артиллерии, сделать набег на Венгерскую равнину, произвести там панику и быстро вернуться. Корнилов возложил на себя, по-видимому, ту же задачу, за что и понес должное наказание. Гонведская дивизия, двигавшаяся от Ужгорода к Турке, свернула на Стакчин и вышла в тыл дивизии Корнилова. Таким образом, он оказался отрезанным от своего пути отступления; он старался пробраться обратно, но это не удалось, ему пришлось бросить батарею горных орудий, бывших с ним, зарядные ящики, часть обоза, несколько сотен пленных и с остатками своей дивизии, бывшей и без того в кадровом составе, вернуться тропинками.

Тут уже я считал необходимым предать его суду за вторичноеслушание приказов корпусного командира, но генерал Цуриков вновь обратился ко мне с бесконечными просьбами о помиловании Корнилова, выставляя его пылким героем и беря на себя вину в том отношении, что, зная характер Корнилова, он обязан был держать его за фалды, что он и делал, но в данном случае Корнилов совершенно неожиданно выскочил из его рук. Он умолял не наказывать человека за храбрость, хотя бы и неразумную, и давал обещание, что больше подобного случая не будет. Кончилось тем, что я объявил в приказе по армии и Цурикову, и Корнилову выговор. Впоследствии, когда Корнилов, уже в составе 3-й армии, опять не послушался Цурикова и при прорыве немцами фронта 3-й армии не выполнил данного ему приказания, он был окружен со всех сторон и взят в плен. Вспоминая об этом, я, хотя и запоздало, сожалел, что вследствие моей неуместной в данном случае уступчивости я невольно подготовил окончательное поражение этой славной дивизии. Странное дело, генерал Корнилов свою дивизию никогда не жалел: во всех боях, в которых она участвовала под его начальством, она несла ужасающие потери, а между тем офицеры и солдаты его любили и ему верили. Правда, он и себя не жалел, лично был храбр и лез вперед очертя голову.

Противник был разбит — это несомненно. Но он далеко не был уничтожен и не потерял своей боеспособности. Поэтому я с большой болью в сердце приказал войскам приостановиться, бросив недоделанное дело, то есть не уничтожив живой силы противника. Я оставил, согласно повелению главнокомандующего, 12-й корпус в составе трех дивизий пехоты и одной дивизии конницы оборонять перевалы, а 8-й и за ним 24-й корпуса двинул на запад на помощь 3-й армии, которая, подходя к Кракову, действительно находилась в тяжелом, опасном положении. При этом я, однако, донес, что считаю мой тыл несколько не обеспеченным и предполагаю, что, как только я уйду вперед, противник опять перейдет в наступление, но уже в моем тылу, и, несомненно, опрокинет 12-й корпус, который не в состоянии бороться с данными ему силами против сильнейшего врага. При этом я добавлял, что Карпаты, в особенности западные, которые значительно ниже восточных, не представляют собой серьезного препятствия, пехота с горной артиллерией может двигаться повсюду и что поэтому

занятие перевалов нисколько и ни от чего нас не гарантирует.

Получив, однако, подтверждение безусловной необходимости спешить на помощь 3-й армии, я туда и устремился, но таким образом 8-я армия с четырьмя корпусами флангом своим от русской границы растянулась на 250—300 верст. Линия войск без всяких резервов была настолько тонка, что, очевидно, противник мог прорваться в любом месте, где он собрал бы кулак для удара. Для оказания помощи 3-й армии у меня оставались в руках лишь два слабых по составу корпуса. Такая стратегическая обстановка мне была непонятна; я считал положение армии очень опасным и был убежден, что австрийцы обязательно воспользуются таким благоприятным для них случаем, что, к сожалению, вскоре и оправдалось, как это будет видно дальше. Я и до сих пор не могу понять, каким образом при отсутствии огнестрельных припасов можно было стремиться дальше на запад очертя голову и что руководило моим начальством удаляться столь сильно от нашей базы, совершенно не обеспечивая нашего левого фланга и тыла.

Раньше, чем продолжать мое повествование, считаю нужным объяснить состояние 8-й армии к этому времени. С момента перехода через границу, то есть почти полных четыре месяца, войска почти непрерывно дрались, имея перед собой, а иногда еще на фланге и в тылу, значительные неприятельские силы. Армия шла победоносно, вынося почти непрерывные жестокие бои; она все время несла громадные потери в людях и получала, как раньше было сказано, незначительные пополнения неудовлетворительного качества. Ко времени, о котором я говорю, армия уже растаяла и дивизии представляли собой не 15-тысячные массы, а их жидкие остатки; были некоторые дивизии в составе трех тысяч бойцов, и не было дивизии, в рядах которой можно было бы насчитать свыше пяти-шести тысяч солдат под ружьем. Большая часть кадровых офицеров выбыла из строя убитыми и ранеными, а некоторые слабодушные после ранений упорно держались в тылу или по болезни, или получив тыловые места в России. В сущности, прежней армии уже не было. Вот с этими-то остатками и приходилось теперь воевать, бесконечно растягиваясь и разбрасываясь. Больно мне было и досадно. Нетрудно было предвидеть, что в недалеком будущем нам придется очень тяжело.

8-й корпус был мною двинут через Жмигруд — Горлице — Грыбов — Новый Сандец, а 24-й корпус в том же направлении, но севернее 8-го корпуса. К этому времени 3-я армия была атакована австро-германскими войсками. В особенности беспокоило Радко-Дмитриево присутствие германских войск, которые, несомненно, дрались лучше австрийцев и венгров, в особенности первые из них, и Радко-Дмитриев настоятельно просил меня оказать ему поддержку возможно быстрее, что я и выполнил, приказав генералу Орлову немедленно перейти в наступление, хотя бы одной дивизией, на Лиманова — Тымбарк. 10-я кавалерийская дивизия, предшествовавшая войскам 8-го корпуса, была ему подчинена. Это наступление оказало действительно значительную поддержку левому флангу 3-й армии и притянуло на себя большие силы врага.

Растянувшись своими войсками на триста с лишним верст, от нашей границы до Нового Санцеца, я считал, что управление столь разбросанной армией и на таком расстоянии нецелесообразно и не дает возможности выполнять дальше возложенную на меня с начала войны задачу. Я должен был охранять левый фланг всего нашего фронта с совершенно недостаточными для этого силами, а посему я просил некоторую часть фронта передать на юг, в 11-ю армию, что и было исполнено. Вместе с тем, предвидя, что я буду неминуемо прорван у себя в тылу, приблизительно по линии Грыбов — Санок, неприятельской армией, оставленной у меня на фланге и в тылу, я настоятельно просил перебросить коммуникационную линию на Ржешув — Ярослав и разрешить устройство моих тыловых магазинов по этой линии, на что также получил согласие. Такого согласия было, однако, недостаточно, потому что все распоряжения по устройству магазинов и этапов находились не в моем ведении и должны были последовать от главнокомандующего. К сожалению, все велось чрезвычайно медленно, как-то неохотно и, во всяком случае, своевременно готово не было.

Когда 8-й корпус втянулся в бой, а 24-й ушел на запад, австрийцы с юга, с Карпатских гор, естественно, перешли в наступление, везде подавляющими силами, прорвали 12-й корпус и откинули его к северу с большими для него потерями. Противник подошел на своем правом фланге к Санок и этим прервал мою связь с тыловыми учреждениями армии, и по этой дороге войска уже больше ничего получать не могли. Штаб моей армии в это время находился в г. Кросно, в направлении которого наносил главный удар противник. При отсутствии в данном месте каких бы то ни было резервов ясно было, что Кросно неминуемо должен попасть в руки противника в самом скором времени, а потому я перенес свой штаб в Ржешув, а сам оставался возможно дольше в Кросно, так как служба связи не могла достаточно быстро наладить телеграфные линии по новым направлениям, управлять же войсками на таких расстояниях возможно лишь с помощью телеграфа.

При переезде из Кросно в Ржешув пришлось пережить одну очень тяжелую ночь. Ночевал я с оперативным отделением моего штаба в Домарадзе. Шоссейная дорога была в столь ужасном виде, что по ней в автомобиле ехать было почти невозможно, а дорога от Кросно на Ржешув, на которой я ночевал, была открыта для противника, ибо части 12-го корпуса были отброшены на северо-восток от Кросно; кавалерийская дивизия, которую я вытребовал к этому месту, прибыть еще не могла, и между мной и противником решительно никого не было. Уехать из этого местечка до утра было нельзя, ибо телеграфная связь на эту ночь уже ранее была налажена, и я очень беспокоился за участь 12-го корпуса, так как командир корпуса доносил, что у него нет никаких сведений о 12-й Сибирской стрелковой дивизии, которая с боем должна была отступать на Рыманув и там войти с ним в связь. Терять управление армией я не хотел, но и попасть в плен к врагу желал еще менее, а потому я выслал к Кросно на полупереход мою конвойную сотню, а южную околицу деревни занял полуротою охранной роты штаба армии, которая тут находилась. Если бы австрийская конница узнала обо всем только что сказанном, мы легко могли бы сделаться ее добычей. К счастью, как потом выяснилось от пленных, они решительно никакого понятия не имели о расположении наших войск и о месте пребывания штаба армии.

Кстати должен сказать, что не только в Восточной Галиции, где большинство населения русины, к нам расположенные с давних пор, но и в Западной, где все население чисто польское, не только крестьяне, но и католическое духовенство относились к нам хорошо и во многих случаях нам помогали всем, чем могли. Это объяснялось тем, что ранее того по моему распоряжению было широко распространено среди населения известное воззвание великого князя Николая Николаевича к полякам. Поляки надеялись, что при помощи русских опять воскреснет самостоятельная Польша, к которой будет присоединена и Западная Галиция. Я старательно поддерживал их в этой надежде. Волновало и досадовало поляков лишь то, что от центрального правительства России не было никаких подтверждений того, что обещания великого князя будут исполнены; поляков очень раздражало, что царь ни одним словом не подтвердил обещаний Верховного главнокомандующего. У них сложилось мнение, что Николай II никогда своих обещаний не исполняет, а потому многие из них, в особенности духовенство, опасались, что, когда пройдет необходимость привлекать их на свою сторону, русское правительство их

надует, нисколько не церемонясь с обещаниями великого князя.

Во всяком случае, должен сказать, что за время моего пребывания в Западной Галиции мне с поляками было легко жить и они очень старательно, без отказов, выполняли все мои требования. Железные дороги, телеграфные и телефонные линии ни разу не разрушались, нападения даже на одиночных безоружных наших солдат ни разу не имели места. В свою очередь я старался всеми силами высказывать полякам любезность и думаю, что они нами были более довольны, чем австрийцами.

Например, в Ржешуве накануне Рождества комендант штаба армии мне доложил, что духовенство и население города чрезвычайно огорчены, что ночная служба, которая у католиков всегда бывает накануне Рождества, воспрещена и раз навсегда строжайшим образом запрещено звонить в церковные колокола. Я чрезвычайно удивился такому дикому запрещению, тем более что противник был настолько далеко от Ржешува, что никаким звоном колоколов сигналов подавать было нельзя. Я потребовал старшего из ксендзов и спросил его, кто запретил ему звонить и молиться Богу. Он мне ответил, что это запрещение исходит от австрийских властей. Я рассмеялся и сказал ему, что распоряжение австрийцев меня не касается и что я разрешаю им и звонить и Богу молиться сколько они хотят, и, чем больше, тем лучше.

Что касается еврейского населения, весьма многочисленного в обеих половинах Галиции, то оно при австрийцах имело очень большое значение, было много помещиков-евреев, и русинское и польское население относилось к ним неприязненно. Почти все состоятельные евреи во время нашего наступления бежали, и осталась лишь одна беднота. В общем, евреи были больше расположены к австрийцам по весьма понятной причине. Но лично я о них ничего дурного за время нашего там нахождения сказать не могу; они были очень услужливы, выполняли все наши требования и вели себя смирно и тихо. Им тоже мною было разрешено молиться сколько и как угодно, что также привело их в восторг; ни в какие счета и расчеты между различными национальностями Галиции я не находил нужным вмешиваться, а требовал лишь, чтобы они жили спокойно и выполняли наши приказания, не мешая нам воевать.

Понятно, что, поскольку это было возможно, я не допускал грабежа мирных жителей и разных обид, требовал также, чтобы за все, что бралось от населения, было немедленно уплачено деньгами по таксе, утвержденной главнокомандующим, тем не менее должен признать, что, в особенности первое время по переходе через наши границы, в Восточной Галиции несколько городов было сожжено, а усадьбы имений, попадавших по пути, большей частью были сожжены или разграблены; виновниками этих беспорядков была главным образом наша конница, шедшая впереди, очень часто также сами крестьяне, озлобленные против помещиков, а зачастую и тыловые обозные части. Невзирая на самые строгие меры, эти обозные части, как нестроевые, ускользнули от строгого наблюдения и производили грабежи. С крайним сожалением должен сказать, что находились офицеры, по преимуществу тыловые, которые не брезговали заниматься тем же позорным делом и старались направить награбленные вещи домой в Россию, но этих господ, как только мне удавалось узнать о подобных их деяниях, я немилосердно предавал суду. В Западной Галиции уже таких грабежей не было; пожары в значительной степени уменьшились, и в этом отношении порядка было больше.

Русские военнопленные на полевых работах

Переход в наступление австрийской армии в тылу левого фланга вверенной мне армии с отбросом нашего 12-го корпуса к северу, естественно, поставил 8-ю армию в высшей степени тяжелое положение. Переговорив по прямому проводу с начальником штаба армий фронта генералом Алексеевым, я приказал 10-ю кавалерийскую дивизию форсированным маршем перевести на дорогу к Ропшице — Ржешув, чтобы связать этой дивизией 12-й корпус с 24-м, которому в свою очередь приказал перестроить фронт с запада, куда они наступали, к югу, а 8-му корпусу мною было приказано, тоже форсированным маршем, выйти через Тухов и Пильзно — Дембницу на дорогу Ржешув — Кросно в мой резерв. Одновременно распоряжением главнокомандующего 3-я армия стала отходить от Кракова, и ее 10-й корпус также повернул фронтом на юг западнее 24-го корпуса; 12-й корпус в составе трех дивизий пехоты и одной дивизии конницы занимал фланговую позицию на восток от Кросно — Рыманув, прикрывая Перемышль. Вместе с тем мною было приказано командующему 11-й армией выдвинуть одну дивизию пехоты в направлении Санок — Рыманув с тем, чтобы возможно быстрее выбросить австрийцев из г. Санок.

В 12-м корпусе, которым я командовал еще в мирное время, состояла 19-я пехотная дивизия, которую я давно знал — еще со времени Турецкой кампании 1877—1878 гг.; мне, тогда молодому офицеру, пришлось воевать с ними плечом к плечу, и тогда, как и в начале настоящей кампании, эта дивизия показала отличные боевые качества. В данном же случае, к моему огорчению, она не обнаружила, как мне казалось, достаточной стойкости при наступлении врага. Я был ею недоволен и поэтому перед новым переходом нашим в наступление счел необходимым с нею лично переговорить. Я приказал выстроить ее в месте расположения и поехал к ней. Дивизия в данный момент состояла всего из четырех сводных батальонов, по одному на полк, вместо 16 пехотных батальонов; в каждом из этих батальонов было по 700—800 человек; следовательно, в сущности, это был один полк неполного состава, да и офицеров было немного. Осмотрев дивизию и переговорив с нею, я увидел, что она духом так же крепка, как и раньше, и что причиной постигшей ее неудачи была слишком большая сила противника. На каждой позиции, на которой она надеялась задержаться, противник с фронта завязывал огневой бой не наступая, но зато с обоих флангов охватывал дивизию большими силами, и ей все время угрожало полное окружение; вследствие несоразмерности сил дивизии не оставалось иного исхода, как отход с одной позиции на другую. Дивизия принуждена была вести арьергардный бой, который она и выполнила стойко и искусно. Я поблагодарил ее за выказанную храбрость и выразил уверенность, что при предстоящих наступательных боях, с несколько пополненными рядами, она покажет противнику, что такое старые кавказские войска.

На другой же день дивизия была пополнена ратниками ополчения, которые были распределены по всем ротам равномерно, и развернулась из четырехбатальонного в восьмibatальонный состав. Некоторое время спустя, то есть в конце января 1915 года, при общем переходе 8-й армии в наступление эта дивизия блестяще выполнила свое обещание, стремительно атаковала врага, опрокинула его с маху, взяла обратно Кросно и Рыманув и неотступно гнала австрийцев далее к югу. 12-я пехотная и 12-я Сибирская стрелковые дивизии не отставали в этом порыве и, охватывая левый фланг противника, заставляли наших врагов почти без задержки уходить назад, теряя по дороге много пленных, часть артиллерии, обозов, всякого оружия и снаряжения. Таким образом, 12-й корпус отомстил за свою неудачу, в которой не он был виноват, а виновато было то непростительное, невозможное положение, в которое поставило его удивительное стратегическое соображение высшего начальства, не захотевшего принять во внимание никаких резонов. 24-й и 10-й армейские корпуса также выполнили свои задачи, и неприятель был скоро отброшен в Карпаты и должен был опять уступить нам

перевалы.

Отраженное нами наступление, как потом выяснилось, велось в значительно больших размерах, чем мы полагали, и преследовало крупные цели: не более, не менее как окружение 8-й армии и пленение ее. Генерал Людендорф в изданных им после войны своих воспоминаниях (т. I, стр. 91 русского перевода) говорит: «Генерал фон Конрад стремится охватить из Карпат южное русское крыло. Чтобы это осуществить, он сильно разрешил свой фронт. С 3 по 14 декабря в сражении у Лиманова и Лопанова ему удалось нанести русским поражение к западу от Дунайца». И дальше: «Охват генерала Бороевича из Карпат между рекой Саном и р. Дунайцем скоро наткнулся на превосходные силы противника, который не замедлил перейти в атаку». Как знает читатель, никаких превосходящих сил у нас в данном случае не было.

Что же касается 8-го корпуса, то он был поставлен мною в мой резерв, и я пользовался этим временем, чтобы привести его в полный порядок, ибо выдержанные им бои к югу от Кракова и форсированный кружной марш обратно к Кросно сильно его переутомили. За это время корпус переименовал своего командира, и вместо генерала Орлова по моему ходатайству был назначен генерал Драгомиров (Владимир). Перемена эта произошла вследствие того, что Орлов, заслуживший ненависть своих подчиненных во время отхода корпуса от Нового Сандеца, выказал значительную растерянность, выпустил управление корпуса из рук и в течение суток даже не знал, что делается с его частями и где они находятся. Как уже я говорил и раньше, Орлов имел неоспоримые достоинства военачальника, но как и в прежних войнах, в которых он участвовал, помимо разных других серьезных недочетов, его постоянно преследовал какой-то злой рок, и большинство его распоряжений и действий, невзирая на видимую их целесообразность, выходили неудачными и вызывали всевозможные нарекания и недоразумения. Он был, что называется, неудачником, и с этим приходится на войне также считаться. Мне было его очень жаль, но я должен был им пожертвовать для пользы дела.

Глава 4

В Карпатах

Явился вопрос: что же делать дальше? Пленные австрийские офицеры, смеясь, рассказывали в нашем разведывательном отделении штаба, что они войну в Карпатах называют Gummikrieg (резиновая война), так как с начала кампании на этом фланге мне все время приходилось, наступая на запад, отбиваться с фланга. Действительно, нам приходилось то углубляться в Карпаты, то несколько отходить, и движения наши могли быть названы резиновой войной. Нужно было теперь предполагать, что дальнейшие передвижения войск наших армий на запад, в сущности, иссякли по недостатку сил. Остаться же моей армии на фланге перед Карпатским хребтом, ожидая удара с юга, не сулило большого успеха, и инициатива действий в таком случае должна была перейти в руки к нашему противнику, что, по моему мнению, было для нас крайне невыгодно.

Австрийцам было совершенно необходимо перейти с значительными силами в наступление именно на этом фланге, чтобы выручить крепость Перемышль, которая не была обеспечена продовольствием и огнестрельными припасами на продолжительное время. Между тем наши войска, расположенные как бы кордоном на несколько сотен верст у северного подножия Карпат, нигде не были достаточно сильны. Они нигде не могли противостоять удару хорошего кулака, который австрийцы могли собрать в каком угодно месте и всегда имели бы возможность легко прорвать нашу завесу, с тем чтобы поставить нас в критическое положение.

Карпаты. Начальник дивизии на перевале

Я считал гораздо более выгодным нам самим собрать сильный кулак и перейти в решительное наступление с целью выхода на Венгерскую равнину. Оговариваюсь: я не рассчитывал с одной армией завоевать Венгрию, а полагал лишь притянуть на себя все неприятельские войска, которые неминуемо должны были быть направлены для освобождения Перемышля. Я считал, что это — единственный способ избавиться от неприятных неожиданностей и иметь возможность нанести противнику сильное поражение и этим способом отстоять осаду Перемышля от покушений врага. При этом я требовал усиления моей армии на один корпус, увеличения кавалерии и ставил обязательным условием обильное снабжение меня огнестрельными припасами. Я в то время не верил, не мог допустить мысли, что наши огнестрельные припасы действительно на исходе и что военное ведомство из ужасного положения, вынуждавшего воевать голыми руками, не выйдет благополучно.

Все это мною было изложено в донесении главнокомандующему. Из различных частных сведений, которые доходили до меня из штаба фронта, я знал, что Иванов — противник подобного образа действий и предпочитал держаться строго оборонительно, что, в свою очередь, было противно моему мнению. Начальник штаба армий фронта Алексеев в данном случае разделял мое мнение. По-видимому, в Ставке наши мнения восторжествовали, и было решено, что я предприму наступление через Карпаты в Венгерскую равнину. К сожалению, как это всегда у нас бывало, для выполнения этой задачи были даны недостаточные силы, и только уже весной мало-помалу они увеличились.

Генерал Алексеев, председатель Временного правительства князь Львов. 1917 г.

Если бы сразу были направлены сюда те силы, которые в конце концов были там собраны, то, без сомнения, успех этой операции дал бы быстрые и богатые результаты, на деле же мы постепенно увеличивали свои силы в этом районе одновременно с неприятелем. Имея сразу значительное превышение сил, я имел бы возможность поочередно разбивать войска противника по мере их прибытия. При данной же обстановке этого делать было нельзя, и потому приходилось медленно, шаг за шагом, продвигаться вперед в такой трудной местности, как Карпатские горы. Как почти во всех операциях этой войны, приняв какой-либо образ действий и утвердив план той или иной операции, наше высшее командование при выполнении операции делалось как будто бы нерешительным и не давало для выполнения плана сразу достаточных средств, как будто желая быть везде сильным и иметь возможность везде парировать всякие случайности.

Нужно отдать справедливость немцам: они, предпринимая какую-либо операцию, бросали в выбранном ими направлении сразу возможно большие силы с некоторым риском и решительно приводили в исполнение принятый ими план действий; это давало им в большинстве случаев блестящий результат. У них была в распоряжении громадная артиллерия с массой орудий тяжелого калибра, мы же в этом отношении сильнейшим образом хромали и не только не увеличивали артиллерии в ударной армии, но даже не снабжали ее в достаточной

мере огнестрельными припасами. У нас, как известно, вообще был значительный недостаток огнестрельных припасов. В особенности артиллерийских. Казалось бы, все-таки даже при нашей бедности в этом отношении была возможность несколько обездоливать те участки фронта, которые к данному времени имели второстепенное значение, для того, чтобы артиллерийский огонь на решающем боевом участке мог вестись надлежащим образом. К сожалению, Иванов, считавшийся отличным артиллерийским генералом, был плохим знатоком этого дела, совершенно не понимавшим значения современного артиллерийского огня. Он упустил из виду решающее значение этого фактора.

Вот при таких-то недочетах в подготовке к предполагавшейся операции я начал ее выполнять. Лично я предполагал наступать в Карпатских горах, сосредоточив четыре армейских корпуса и не менее трех-четыре кавалерийских дивизий на участке от Дуклинского прохода до Балигруда включительно в направлении на Гуменное, с тем чтобы возможно скорее проникнуть в Венгерскую равнину. Это направление благоприятствовало данной задаче, так как оно наиболее короткое, пути лучше разработаны, а сам по себе Карпатский хребет на этом участке значительно доступнее и легче преодолим, нежели в других его частях. Одновременно с этим через Турку на Ужгород должен был двигаться 7-й армейский корпус не менее как с одной кавалерийской дивизией, для того чтобы притянуть на себя часть неприятельских сил, а западнее, выше названного участка, левый фланг 3-й армии должен был мне способствовать в продвижении вперед частью своих сил. Предполагал я также, что части войск, оставленные восточнее Турки до нашей границы, должны были своими наступательными действиями на Сколе — Мункач, на Долину — Хуст и на Надворную — Делатынь — Маарамарош Сигет демонстрировать наступление в том же направлении. Таким образом, по всей части Карпатских гор, нами занятой, неприятель видел бы наши стремления перенести театр военных действий к югу, в Венгерскую равнину, и ему трудно было бы определить, где нами предполагается наносить главный удар, а следовательно, ему было бы затруднительно знать, куда направлять свои резервы; при таких условиях ему было бы почти невозможно парировать наносимые нами удары, и помыслов о выручке Перемышля у него не могло бы быть. Для сего, однако, необходимо было подготовить наше наступление возможно быстрее, дабы инициатива действий отнюдь не была им выхвачена из наших рук.

В действительности вышло несколько иначе: во-первых, я получил меньше сил, чем мне было обещано; во-вторых, сосредоточение этих сил длилось очень долго (наши железные дороги того времени с их недочетами известны, чтобы на этом останавливаться). Таким образом, в феврале, когда для руководства всем наступлением через Карпаты мне был передан восточный участок, находившийся одно время под начальством командующего 11-й армией, австрийцы успели уже сосредоточить значительные силы на линии Мезо-Лаборц — Турка и перешли в наступление с целью выручить Перемышль. Главным удар ими направлялся на линию Загорж — Устрижки Дольное, и многочисленные наши войска, находившиеся там, начали с боем отходить. Силы неприятеля сосредоточились в особенности на направлении Мезо-Лаборц — Санок — Перемышль, и я направил туда весь 8-й армейский корпус, постепенно, по мере возможности, усиливая этот участок фронта, так как и противник безостановочно направлял туда свои подкрепления. Первое, что мною было сделано, когда я принял этот участок в свое ведение, это приказано немедленно перейти в контр наступление, и я направил туда 4-ю стрелковую дивизию (развернутую из бригады) для поддержки отступающих частей; эта дивизия всегда выручала меня в критический момент, и я неизменно возлагал на нее самые трудные задачи, которые она каждый раз честно выполняла. В первый момент задача наступать вместо отступления ошеломила войска, считавшие себя слабее противника, и как мне передавали, войска думали, что это требование невыполнимо. Но вместе с тем это подняло дух, и они, веря мне, пошли вперед и не только приостановили наступление противника, но заставили его перейти к обороне и постепенно начали сбивать противника с позиции на позицию, хотя медленно и с трудом, но продвигаясь к югу. Натиск на 8-й корпус в конце февраля и начале марта настолько усилился, что он временно вынужден был перейти к активной обороне, а мне пришлось постепенно, насколько мне помнится, довести состав корпуса до 64 батальонов.

В это время Перемышль переживал последние дни осады, и по беспроволочному телеграфу комендант сообщал в Вену, что если город не будет вскоре освобожден, то ему придется сдать крепость. Вследствие этого австрийцы, желая во что бы то ни стало освободить Перемышль, бросили на этот участок все силы, которые только могли собрать, и сосредоточили на направлении Балигруд — Лиско, по-видимому, свыше четырнадцати пехотных дивизий; все их усилия не могли сломить наше сопротивление, и 8-й корпус с приданными ему частями, а частью и 7-й корпус доблестно выдерживали отчаянные атаки противника и сами все время наносили чувствительные контрудары. Таким образом, борьба свелась к тому, чтобы отстоять осаду Перемышля и добиться его сдачи, что в свою очередь очищало наш тыл и освобождало несколько дивизий пехоты, которые могли быть направлены на помощь войскам, дравшимся в Карпатах.

Укрепления Перемышля

Одно время командир 8-го корпуса генерал Драгомиров как будто бы начал терять надежду на успех и донес мне, что начальник одной из дивизий, бывший всегда очень стойким и распорядительным, заявлял, что дивизия его более сопротивляться не может, а потому командир корпуса предполагал отходить к Санок. Это, очевидно, нарушило бы стойкость всего фронта, и такой успех поднял бы дух противника, который, усугубив свои старания, имел бы шансы добиться освобождения Перемышля. Я немедленно же ответил командиру корпуса, что безусловно запрещаю какой бы то ни было отход назад и приказываю передать начальнику дивизии, что я настоятельно прошу его устойчиво держаться на месте и ни в каком случае ни на шаг не подаваться назад; если моя просьба недостаточна, то я приказываю ему держаться; если же это приказание, по его мнению, невыполнимо, то я немедленно отрещаю его от командования дивизией. Это предостережение возымело свое надлежащее действие, и эта славная дивизия не только до конца стояла на месте, но вскоре перешла в успешное наступление.

9 марта Перемышль сдался, и сразу наше положение на фронте в Карпатах стало легче. По всему нашему фронту выставили плакаты о сдаче Перемышля. Австрийцы были лишены главного стимула, заставлявшего их так яростно бросаться на нас. По справедливости должен сказать, что сдача Перемышля произошла исключительно благодаря бесконечной стойкости и самоотверженности войск 8-й армии, в особенности 8-го армейского корпуса с его начальниками во главе. Нужно помнить, что эти войска в горах зимой, по горло в снегу при сильных морозах, ожесточенно дрались непрерывно день за днем, да еще при условии, что приходилось беречь всемерно и ружейные патроны и в особенности артиллерийские снаряды. Отбиваться приходилось штыками, контратаки производились почти исключительно по ночам, без артиллерийской подготовки и с наименьшею затратою ружейных патронов, дабы возможно более беречь наши огнестрельные припасы.

Вот что говорит по поводу вышеизложенного в своих воспоминаниях генерал Людендорф:

«Наступление австро-венгерской армии для освобождения Перемышля не имело никакого успеха. Русские вскоре перешли в контратаку. Судьба Перемышля должна была свершиться. По всему восточному фронту мы находились в ожидании русских атак».

М. И. Драгомиров

Объезжая войска на горных позициях, я преклонялся перед этими героями, которые стойко переносили ужасающую тяжесть горной зимней войны при недостаточном вооружении, имея против себя втрое сильнее противника. Меня всегда крайне удивляло, что эта блестящая работа войск не была достаточно оценена высшим начальством и что по справедливости представленные мною к наградам начальники (между прочим, генерал Драгомиров — к вполне заслуженному им ордену Георгия 3-й степени) ничего не получили. Я лично никогда ни за какими наградами не гнался и считал их для себя излишними. Я всегда исповедовал убеждение, что народная война — дело священное, которое военачальник должен вести, как бы священнодействуя, с чистыми руками и чистой душой, так как тут проливается человеческая кровь во имя нашей матери-Родины. Но считал я также, что за геройское самоотвержение войск и мне подчиненных начальствующих лиц они должны получать должное воздаяние, дабы наша мать-Родина знала, что ее сыны сделали на пользу, славу и честь России. А между тем эта титаническая борьба в горах и заслуга спасения осады Перемышля, результатом которой была сдача противником этой крепости, была не только не поощрена, но прямо скрыта от России.

Поскольку 8-я армия имела против себя противника в значительной мере сильнее ее, разговора о спуске в Венгерскую равнину не могло быть, в особенности потому, что огнестрельных припасов отпускалось все меньше и меньше, а Радко-Дмитриев, мой сосед с Дунайца (3-я армия), мне сообщал, что против его 10-го корпуса заметна подготовка к прорыву его фронта: свозится многочисленная артиллерия тяжелых калибров, заметно прибывают войска, увеличиваются обозы и т. д. Так как, невзирая на его требования, ему подкрепления не посылались, а у него резервов не было, то нетрудно было предвидеть, что его разобьют и моя армия, спустившись в Венгерскую равнину без огнестрельных припасов, должна будет положить оружие или погибнуть. Поэтому я только делал вид, что хочу перейти Карпаты, а в действительности старался лишь сковать возможно больше сил противника, дабы не дать ему возможности перекидывать свои войска по другому назначению. Условия жизни в горах были чрезвычайно тяжелые, подвоз продуктов очень затруднителен, а зимней одежды недостаточно. Зимой 1914/15 года центр боевых действий перешел в Карпаты, и не могу не считать своей заслугой, что благодаря моим настояниям было обращено внимание на этот фронт; не обинуясь могу сказать, что ежели бы мы тут, хотя и несколько поздно, не подготовились, то усилия противника освободить Перемышль увенчались бы успехом и весь левый фланг нашего фронта еще зимой был бы опрокинут, Львов взят обратно и Галиция была бы тогда же нами потеряна. В подкрепление австрийских сил были присланы и германские части, которые своей устойчивостью и высокими боевыми качествами значительно усилили Карпатский фронт. Правда, летом 1915 года мы Галицию потеряли, но вследствие удара с другой стороны, а именно прорыва фронта 3-й армии с запада, после того как врагу не удалось разбить нас в Карпатах. Могу сказать лишь одно: по моему убеждению, в катастрофе, постигшей весь наш фронт весной и летом 1915 года, считаю виноватым кроме нашей неосмотрительной стратегии также мелочность и полное непонимание обстановки бывшим главнокомандующим Юго-Западным фронтом Ивановым, о чем будет сказано ниже.

Звезда и знаки к ордену Св. Георгия

Не следует, однако, думать, что зимой 1914/15 года сильный напор противника был только на 8-й и 7-й корпуса; почти столь же сильный напор должны были выдержать войска, защищавшие доступ к Львову со стороны Мункача и Хуста направлением на Сколе — Долину и Болехув. Жесточайшие бои против многочисленнейшего противника в ужасающе тяжелых жизненных условиях части доблестно выдерживали. На подмогу этому участку армии, изнемогавшему в непосильной борьбе, был мною направлен 12-й армейский корпус (финляндский), который был включен в состав 8-й армии самим Верховным главнокомандующим и, как мне передавали, против желания генерала Иванова. Как бы то ни было, мы зимой отстояли Галицию и продолжали постепенно продвигаться вперед.

Неизменно уменьшавшееся количество отпускаемых огнестрельных припасов меня очень беспокоило. У меня оставалось на орудие не свыше 200 выстрелов. Я старался добиться сведений, когда же можно будет рассчитывать на более обильное снабжение снарядами и патронами, и, к моему отчаянию, был извещен из штаба фронта, что ожидать улучшения в этой области едва ли можно ранее поздней осени того же 1915 года, да и то это были обещания, в которых не было никакой уверенности. С тем ничтожным количеством огнестрельных припасов, которые имелись у меня в распоряжении, при безнадёжности получения их в достаточном количестве было совершенно бесполезно вести активные действия для выхода на Венгерскую равнину. В сущности, огнестрельных припасов у меня могло хватить лишь на одно сражение, а затем армия оказалась бы в совершенно беспомощном положении при невозможности дальнейшего продвижения и крайней затруднительности обратного перехода через Карпатский горный хребет при наличии одного лишь холодного оружия. Поэтому я не стал добиваться дальнейших успехов на моем фронте, наблюдая лишь за тем, чтобы держаться на своих местах с возможно меньшими потерями. Я об этом своем решении не доносил и войскам не объявлял, но выполнял этот план действий как наиболее целесообразный при данной обстановке.

Была еще одна темная туча на нашем горизонте. Это — известия, которые продолжали поступать из 3-й армии, о непрерывном подвозе тяжелой артиллерии и войск у неприятеля. Эти угрожающие известия, насколько я помню, начали поступать со второй половины февраля, и генерал Радко-Дмитриев, на основании донесений своих агентов и наблюдений самолетов, тревожно доносил главнокомандующему о том, что на его фронте сосредоточивается очень сильная германская ударная группа. Ясно было, что неприятель после неудачи его активных действий в Карпатах и потери Перемышля замыслил теперь прорыв нашего фронта в другом месте. Неудача в 3-й армии грозила моей армии выходом неприятельских сил в мой тыл; отступать же с горных вершин, имея перед собой сильного врага, представляло для моей армии задачу весьма трудную и опасную. Радко-Дмитриева очень беспокоило положение дел на его фронте, и он своевременно и многократно доносил Иванову о необходимости сильного резерва для парирования угрожавшей ему опасности. К сожалению, по-видимому, генерал Иванов не доверял донесениям Радко-Дмитриева и держался предвзятой идеи, что нам грозит наибольшая опасность не на Дунайце, а на нашем левом фланге, у Черновиц, Снятыни и Коломыи; эта несчастная идея, которую подкреплял своим мнением новый начальник штаба фронта генерал Драгомиров, заставила совершить ряд крупных ошибок, которые повлекли за собой чрезвычайно тяжкие, невознагражденные последствия.

Чтобы это пояснить, должен сказать, что уже в марте 11-й корпус был прислан в мое распоряжение и направлен мною на левый фланг; к

Немудно я присоединил все находившиеся уже там войска, отданные под общее начальство командарма корпуса генерала Сахарова. По утвержденному мною плану действий они перешли в общее наступление, разбили противника и вполне успешно теснили его, заставляя уходить в горы, и не было решительно никакой надобности столь беспокоиться об этом участке моего боевого фронта. Ожидать тут появления значительных масс противника не было никаких оснований прежде всего потому, что Карпатские горы на этом участке представляют более серьезную преграду, чем на западе, и движение здесь было возможно исключительно по дорогам, которых было мало, а посему большие массы не могли быть двинуты в этом направлении. Кроме того, железных дорог на этом участке также весьма мало, и продовольствовать и снабжать войска всем необходимым для боевых действий было весьма затруднительно. Наконец, непосредственная близость румынской границы не давала возможности свободно маневрировать, нарушать же границу этого государства ни мы, ни центральные державы ни в каком случае не хотели, ибо Румыния держала нейтралитет и обе стороны старались привлечь ее в свой стан.

Предвзятые идеи, в особенности в военном деле, потому-то и опасны, что всякие известия воспринимаются под определенным освещением. Боязнь, что прорывом нашего крайнего левого фланга неприятель может выйти в наш глубокий тыл, непосредственно у нашей государственной границы, совершенно затуманивала в уме главнокомандующего действительное положение дела. На этом основании еще в марте 1915 года в этот район был перекинут штаб 9-й армии и туда направлены все войска, которые только можно было снять с других участков фронта. Новый командующий 9-й армией генерал Лечицкий, ожидая сбора всех войск, назначенных в его распоряжение, приостановил удачно развившееся наступление Сахарова, а в это время ударная группа неприятеля против 3-й армии продолжала невозбранно усиливаться подвозом войск и всего необходимого материала для успешного наступления. Если бы все войска, которые были направлены в 9-ю армию, были быстро перевезены в распоряжение Радко-Дмитриева, он мог бы перейти в наступление, не ожидая сбора всех войск врага, разбить головные части только что собиравшейся армии немцев и этим своевременно ликвидировать грозившую нам опасность. Но хуже глухого тот, кто сам не желает слышать, и 10-й корпус, вытянутый в одну тонкую линию, без всяких резервов, на протяжении 20 с лишним верст, без тяжелой артиллерии, бездейственно стоял, спокойно ожидая момента, когда Макензену, вполне подготовившемуся, угодно будет разгромить его и на широком фронте прорвать линию 3-й армии.

И вот при таком положении дел Юго-Западного фронта был затеян приезд императора Николая II в Галицию. Я находил эту поездку хуже чем несвоевременной, прямо глупой, и нельзя не поставить ее в вину бывшему тогда Верховному главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу. Поездка эта состоялась в апреле. Я относился к ней совершенно отрицательно по следующим причинам: всем хорошо известно, что подобные поездки царя отвлекали внимание не только начальствующих лиц, но и частей войск от боевых действий; во-вторых, это вносило некоторый сумбур в нашу боевую работу; в-третьих, Галиция нами была завоевана, но мы ее еще отнюдь не закрепили за собой, а неизбежные речи по поводу этого приезда царя, депутации от населения и ответные речи самого царя давали нашей политике в Галиции то направление, которое могло быть уместно лишь в том крае, которым мы овладели бы окончательно. А тут совершалась поездка с известными тенденциями накануне удара, который готовился нашим противником, без всякой помощи с нашей стороны, в течение двух месяцев. Кроме того, я считал лично Николая II человеком чрезвычайно незадачливым, которого преследовали неудачи в течение всего его царствования, к чему бы он ни приложил своей руки. У меня было как бы предчувствие, что эта поездка предвещает нам тяжелую катастрофу.

Царь с Верховным главнокомандующим по пути из Львова посетил, между прочим, и штаб моей армии, который в то время находился в городе Самбор у подножия Карпат, на Днестре. На железнодорожной станции был выставлен почетный караул из 1-й роты 16-го стрелкового полка, шефом которого состоял государь. Мне было дано знать, что царь со своей свитой будет у меня обедать, после этого поедет в Старое Место, где произведет смотр 3-му Кавказскому армейскому корпусу, а затем направится в Перемышль для его осмотра и там будет ночевать.

Кстати, 3-й Кавказский армейский корпус, только что перевезенный в Старое Место и числившийся в моей армии, находился в резерве главнокомандующего, который расположил его тут потому, что в данном месте он находился на полпути как от 9-й армии, излюбленной Ивановым, так и от 3-й армии. Генерал Иванов, невзирая на все угрожающие сведения, уже ясно показывавшие, что удар противника сосредоточивается на фронте 3-й армии, все-таки не решался подкрепить Радко-Дмитриева. Об этом преступном недомыслии я до настоящего времени не могу спокойно вспоминать. Радко-Дмитриев, видя, что все его донесения мало помогают, прислал мне письмо, в котором излагал создавшуюся у него тяжелую обстановку и просил моего воздействия на Иванова. Я ответил Радко-Дмитриеву, что мое вмешательство в дело чужой армии при моих отношениях к главсоюзу не только не поможет ему, а окончательно все испортит. Советовал же я ему написать о его положении генерал-квартирмейстеру Данилову в Ставку для доклада Верховному главнокомандующему. Исполнил ли он мой совет — не знаю, ибо я больше не видел этого честного и доблестного воина.

Около 11 часов утра прибыл первый свитский поезд, а час спустя прибыл царский поезд. Отрапортовав государю о состоянии вверенной мне армии, я доложил, что 16-й стрелковый полк, так же как и вся стрелковая дивизия, именуемая «железной», за все время кампании выдавалась своей особенной доблестью и что, в частности, 1-я рота, находящаяся тут в почетном карауле, имела на этих днях блестящее дело и отличилась, уничтожив две роты противника. Как и всегда, царь был в нерешительности, что же ему по этому случаю делать; великий князь Николай Николаевич вывел его из затруднения, сказав, что ему нужно пожаловать всей роте Георгиевские кресты, что он и выполнил. Затем со станции железной дороги царь поехал в дом, занимаемый моим штабом, где был приготовлен обед. В столовой государь обратился ко мне и сказал, что в память того, что он обедает у меня в армии, он жалует меня своим генерал-адъютантом. Я этого отличия не ожидал, так как царь относился ко мне всегда, как мне казалось, с некоторой недоброжелательностью, которую я объяснял тем обстоятельством, что, не будучи человеком придворным и не стремясь к сему, я ни в ком не заискивал и неизменно говорил царю то, что думал, не прикрашивая своих мыслей. Заметно было, что это раздражало царя. Как бы то ни было, это пожалование меня несколько обидело, потому что из высочайших уст было сказано, что я жалуюсь в звание генерал-адъютанта не за боевые действия, а за высочайшее посещение и обед в штабе вверенной мне армии. Я никогда не понимал, почему, жалую за боевые отличия, царь никогда не высказывал мне по крайней мере своей благодарности; он как будто бы боялся переперчить и выдвинуть того, кто заслужил своей работой то или иное отличие.

Немедленно после обеда мы направились в поезде в Хырув, где и состоялся высочайший смотр 3-му Кавказскому армейскому корпусу. В это время корпус находился в блестящем виде, пополненный, хорошо обученный и с высоким боевым духом. Представился он царю наилучшим образом. Так как верховых лошадей не было приказано приготовить, то император стал обходить войска пешком, но при

таким условиям обхода войск его мало кто мог видеть, и великий князь Николай Николаевич настоял на том, чтобы царь объезжал войска и здоровался с ними стоя в автомобиле. Нужно сказать, что царь не умел обращаться с войсками, говорить с ними. Он и тут, как всегда, был в некоторой нерешительности и не находил тех слов, которые могли привлечь к нему души человеческие и поднять дух. Он был снисходителен, старался выполнять свои обязанности верховного вождя армии, но должен признать, что это удавалось ему плохо, несмотря на то что в то время слово «царь» имело еще магическое влияние на солдат. Сейчас же после церемониального марша государь сел в поезд и уехал в Перемышль, я же отклонялся и вернулся в Самбор, так как Перемышль, находившийся в тылу, был вне расположения вверенной мне армии.

Заботы Иванова об усилении Карпатского восточного фронта, в чем никакой надобности не было, продолжались, и между 8-й и 9-й армиями втиснули вновь возродившуюся для сего случая 11-ю армию, которая, называвшаяся ранее «осадной», после падения Перемышля была расформирована. 3-я же армия продолжала оставаться без усиления.

Наконец Макензен вполне основательно и без помехи закончил свои приготовления и в выбранное им время могущественной ударной группой с громадной артиллерией (в числе которой было много тяжелой) нанес сокрушительный удар по 10-му корпусу, у которого резервов не было и который был вытянут в одну тонкую линию, имея только один ряд окопов, несовершенных и ни в какой мере не могущих укрывать войска от всесокрушающего огня противника. Ясно, что при таких условиях этот корпус легко был прорван и сломан, а многочисленные германские войска, хлынув в этот прорыв, начали его быстро расширять и поражать разрозненные части 3-й армии, которые отходили от своих позиций в полном беспорядке.

Вина прорыва 3-й армии ни в какой мере не может лечь на Радко-Дмитриева, а должна быть всецело возложена на Иванова. Однако в крайне беспорядочном и разрозненном отступлении армии нельзя не считать виновником Радко-Дмитриева. Он прекрасно знал, что готовится удар, и знал место, в котором он должен произойти. Знал он также, что подкреплений к нему никаких не подошло и, следовательно, ему не будет возможности успешно противостоять этой атаке. Поэтому, казалось бы, он должен был своевременно распорядиться о сборе всех возможных резервов своей армии к угрожаемому пункту и вместе с тем отдать точные приказания всем своим войскам, в каком порядке и направлении в случае необходимости отходить, на каких линиях останавливаться и вновь задерживаться, дабы по возможности уменьшить быстроту наступления противника и провести отступление своих войск планомерно и в полном порядке. Для сего необходимо было заблаговременно, без суеты убрать все армейские тыловые учреждения и также заблаговременно распорядиться устройством укреплений на намеченных рубежах. При таких условиях 3-я армия не была бы полностью разбита.

Кроме того, во время этого несчастного отступления на всем обширном фронте армии Радко-Дмитриев потерял бразды управления, чего не было бы, если бы он заблаговременно, по намеченным рубежам, надлежащим образом распорядился устроить техническую службу связи, без чего управлять армией невозможно. Он же стал сам катать в автомобиле от одной части к другой и рассылал для связи своих адъютантов, которые, как рассказывали очевидцы, отдавали от его имени приказания начальникам частей, минуя их прямых начальников; приказания же эти были часто противоречивые. Понятно, что от такого управления войсками сумбур только увеличивался, и беспорядок при отступлении принял грандиозные размеры не столько от поражения, сколько от растерянности начальников всех степеней, не управляемых более одной волей, не знавших, что им делать, и не знавших, что делают их соседи. Результат совокупности всех перечисленных условий отступления и не мог быть иным.

В это-то время генерал Иванов наконец решился спешно двинуть 3-й Кавказский армейский корпус на помощь 3-й армии. Корпус был двинут эшелонами, ибо пройти значительный путь целому корпусу одним эшелоном одной дорогой было, конечно, затруднительно и явилось бы потерей времени, потому что корпус был расквартирован в большом районе и не было надобности сосредоточивать его вдали от противника. Очевидно, что эшелонами войска могли двигаться быстрее и с меньшей усталостью. Вводить же в бой войска пакетами было, конечно, нежелательно, а следовательно, надлежало задержать головной эшелон на каком-либо рубеже, дать подтянуться войскам корпуса и приказать пристроиться к ним отступавшим войскам; при таких условиях, хоть временно, противник был бы задержан и мог бы получить сильную острastку. К сожалению, войска корпуса своими разрозненными усилиями не могли оказать существенной поддержки уже разбитым войскам. Не знаю, получил ли в это время Радко-Дмитриев откуда-нибудь еще какую-либо поддержку; могу лишь сказать, что при таких условиях восстановить фронт армии было, очевидно, невозможно, и войска Радко-Дмитриева в полнейшем беспорядке продолжали быстро отходить к Перемышлю, севернее этой крепости, примыкая к ней своим левым флангом. Между тем этой крепости в действительности более не существовало: она была заблаговременно эвакуирована, оставалось только незначительное количество артиллерии и снарядов, но решительно никаких запасов; в крепости не было гарнизона, за исключением двух или трех дружин ополчения для содержания караулов.

При такой-то обстановке мною, а также и моими соседями слева было получено приказание отходить с Карпатских гор, чтобы занять новые позиции, причем моей армии приказано было занять позицию южнее Перемышля — от этой крепости до Старого Места (Старый Самбор). Я возразил на это, что в данном случае мой левый фланг будет висеть в воздухе, ничем не обеспеченный, и что для занятия этого фронта сколько-нибудь прочно у меня не хватит войск, тем более что мне было приказано обеспечить Перемышль гарнизоном в составе не менее одной дивизии пехоты. Тогда мне было дано разрешение, оставляя мой правый фланг упирающимся в Перемышль, отвести левый фланг назад, с тем чтобы он обеспечивался болотом у Днестра близ Верещицы. Перемышль был мне подчинен, что вследствие разоружения крепости, невозможности надлежащего ее сопротивления меня в достаточной степени огорчало. Я никогда не гнался ни за славой, ни за наградами и поэтому не возражал. Но мне было непонятно, почему разгромленный Перемышль из состава 3-й армии передан был мне вместе с двумя армейскими корпусами 3-й армии которые были совершенно расстроены и представляли собой лишь жалкие остатки бывших отличных корпусов. Опять вспоминается солдатское заключение: «Эх-ма! Другие напакостили, а нам на поправку давай!»

Только много времени спустя все объяснилось. Невидимая для меня рука в свое время приписала взятие Перемышля генералу Селиванову, который и был награжден за это после нескольких месяцев спокойного сидения под Перемышлем. А моя геройская армия все это время неустанно билась впереди, не допуская сильнейшего врага дойти до крепости на помощь ее гарнизону.

Повторяю: я славы не искал, но, проливая тогда солдатскую кровь во имя Родины, теперь я имею право желать, чтобы хотя бы история

достойно оценил самоотверженных героев — солдат и офицеров. В память погибших воинов я пишу эти строки, а не для прославления своего имени. Мир праху дорогих усопших боевых товарищей! Мне было обидно за мою дорогую армию, когда та же невидимая рука связала сдачу Перемышля с моим именем, а следовательно, и с именем моей армии. Тогда мне было горько... Но мне было только смешно, когда вынужденно, в силу необходимости, давая мне редкие награды, было дано негласное распоряжение их замалчивать в прессе и широко в Россию не сообщать, «чтобы популярность имени Брусилова не возрастала». Я мог бы это доказать документально. Конечно, эти записки увидят свет, когда я уже сойду с арены, до славы земной мне будет весьма мало дела, но скрывать свои переживания того времени от будущей России не считаю себя в праве ввиду того, что карьеризм, личные интересы, зависть, интриги загубили общее русское дело. Да не будет так в будущем!

Глава 5

Отступление 1915 года

Приказание об отступлении моем с Карпатских гор не было для меня сюрпризом, ибо, как я уже раньше говорил, при существовавшей тогда обстановке разгром 3-й армии был неминуем, а следовательно, неизбежен был и выход неприятеля в мой тыл. Поэтому всякие склады и тяжести армии были заблаговременно оттянуты с гор назад. При отсутствии этой предусмотрительности мне пришлось бы их сжечь, но и при своевременно принятых мерах отход был крайне затруднителен. потому что стоявший против нас многочисленный противник должен был принять всевозможные меры, чтобы возможно дольше задержать нас в горах и попытаться разбить нас во время отступления и захватить нашу артиллерию и обозы. Кроме того, при удаче противника, то есть при сильной нашей задержке в горах, войска Макензена могли зайти в тыл моей армии, что грозило окружением. В этом отношении 11-я и 9-я армии, расположенные восточнее меня, имели большое преимущество, ибо им зайти в тыл никто не мог.

Мой ближайший сосед слева, недавно назначенный командующий 11-й армией генерал Щербачев, заехал ко мне, с горестью выражая свое негодование необходимостью отступать, и предлагал просить разрешения оставаться на месте, отнюдь не уступая ни пяди земли, нами завоеванной. Действительно, с начала кампании мы в Галиции одержали громадные успехи, все более и более захватывали неприятельскую территорию и до мая месяца поражений не терпели. Поэтому я понимал чувство крайней досады, которым был обуреваем молодой, только что назначенный командующий армией, желавший отличиться на более широком поприще действий, а не начинать свою деятельность отступлением, но ему не была достаточно известна общая обстановка, и когда я ему ее объяснил, он согласился, что если оставаться на месте, то не только 8-я армия, попадавшая между двух огней, но и его армия, состоявшая в то время лишь из двух корпусов, попадают в безвыходное положение и позднее не будут в состоянии спуститься с гор.

Мною было приказано войскам на фронте не показывать вида, что предполагается отход, и, оставив в окопах разведывательные команды с несколькими пулеметами, всем остальным войскам с наступлением темноты возможно быстрее, но в строгом порядке отходить на новые позиции, точно определив пути, по которым будут двигаться колонны. Арьергардным же частям было приказано вести до рассвета обычную ночную перестрелку и разведку. Все корпуса без боя благополучно отошли, лишь мой левый фланг был задержан на месте по просьбе командующего 11-й армией, так как его войска не могли почему-то своевременно отступать. Вследствие этого мой крайний левый фланг принужден был вступить в бой, чтобы дать возможность правому флангу 11-й армии отойти. Ведя бой при невыгодных условиях, два полка понесли значительные потери, однако они никаких трофеев противнику не оставили.

Ранее, чем излагать наши дальнейшие действия, мне необходимо объяснить, как обстояло дело укрепления нами позиций. Это искусство в мирное время было вообще в большом пренебрежении. Японская кампания, как прообраз действий войск в позиционной войне, усиленно критиковалась военными авторитетами всех держав, и между прочим, нами; в особенности наши военные учителя, германские военные писатели, не находили достаточно слов, чтобы насмеяться над Куропаткиным и его системой изрыть всю Маньчжурию, постоянно отступая и не используя при том большей части своих заблаговременно укрепленных позиций. Они утверждали, что немцы ни в коем случае подобному образу действий следовать не будут, что Германии необходимо выиграть короткую войну, быстро разгромить противников, и потому забавляться позиционной войной они не станут. Мы в свою очередь совершенно соглашались с этим выводом, и общий лозунг всех наших военачальников состоял в том, чтобы до последней крайности избегать позиционной войны. В мирное время мы ее никогда не практиковали по разным причинам, из которых главная мною только что изложена.

Нужно признать, что ни начальники, ни сами войска терпеть не могли укрепляться и в лучшем случае ограничивались ровиками для стрелков. Зимой в Карпатах я приказывал основательно окапываться, имея не менее трех линий окопов с многочисленными ходами сообщения. В ответ я постоянно получал донесения о невозможности выполнения этого требования. После же настоятельных моих приказаний было донесено, что они выполняются, но когда после данного мною времени для осуществления укрепления позиций я стал оббегать корпуса, чтоб осмотреть выполненные работы, то оказалось, что, в сущности, почти ничего не сделано, а то немногое, что было выполнено, было настолько основательно занесено снегом, что трудно было даже решить, где рылись окопы. На мои вопросы, как же будут заниматься укрепления в случае наступления противника, мне докладывали, что они их тогда вычистят. На мой естественный вопрос, полагают ли они, что противник согласится ждать, пока они будут приводить в порядок свои укрепленные позиции, мне сконфуженно объясняли, что в будущем постараются содержать свои окопы в лучшем порядке. Был случай в одном из корпусов, что ни сам командир корпуса, ни начальник дивизии, ни командир бригады, ни командир полка, ни, наконец, начальник инженеров корпуса не могли мне указать на местности, где уже вырыты окопы; между тем мне был представлен весьма хорошо разработанный на карте план непрерывно укрепленной позиции всего корпуса с донесением, что работа уже выполнена и проверена. Конечно, при такой нелюбви к укреплению своих позиций не только в 8-й армии, но и вообще во всей русской армии трудно было отстаивать занятые нами позиции, когда пришлось защищать их, хотя бы только для выигрыша времени.

Наши укрепленные позиции в действительности представляли собой один лишь ров, даже без ходов сообщения в тыл. При усиленном обстреле артиллерийским огнем, в особенности огнем тяжелой артиллерии, этот кое-как сделанный ров быстро заваливался, а сидевшие в нем люди при ураганном огне уничтожались целиком или сдавались в плен во избежание неминуемой смерти. Уже впоследствии штабом фронта было сделано распоряжение — заблаговременно строить в тылу на различных рубежах укрепления соответствующего типа и силы, но, в сущности, и эти укрепленные позиции были весьма несовременного типа. Вообще, наши войска все время стремились к полевой войне (что вполне естественно) и крайне неохотно и лениво совершенствовали занимаемые ими позиции. На Юго-Западном

фронте к позиционной войне вперемежку с полевой мы перешли в конце 1914 года и уже окончательно перешли к позиционной войне летом 1915 года, после грандиозного наступления армий центральных держав. Что касается 8-й армии, то, когда мы отступали с Карпат на новые позиции южнее Перемышля, никакой заблаговременно подготовленной позиции у нас не было, и войска стали спешно окапываться лишь по прибытии на места. Окопы эти были весьма примитивного свойства, и надлежащим образом их усовершенствовать в дальнейшем не было никакой возможности, ибо приходилось вести чрезвычайно упорные бои, перекидывая войска по мере надобности с места на место.

Войска были милиционного характера, в рядах оставалось очень мало кадровых офицеров и солдат, да и число рядов было весьма незначительно; были полки в составе одного неполного батальона, а многочисленная наша кавалерия в это время почти никакой пользы приносить не могла. Комендант Перемышля совершенно терялся оттого, что немногочисленная тяжелая артиллерия то по распоряжению главнокомандующего нагружалась на платформы для отправления в тыл, то по ходатайству коменданта Перемышля снималась для вооружения крепости; эти колебания происходили несколько раз. Наконец комендант генерал Дельвиг взмолился, говоря, что таким образом совершенно изматываются люди, перегруженные работой без всякой пользы для дела, и просил, чтобы было окончательно постановлено, отправлять ли эти орудия в тыл или оставить их для выполнения цели, для которой крепостная артиллерия существует. В свою очередь и я несколько раз настаивал на твердом решении этого вопроса, но получал разноречивые ответы: то мне телеграфировали, что на Перемышль следует смотреть лишь как на участок боевого фронта, а отнюдь не как на крепость, что отвечало действительности; то мне сообщали, что Перемышль следует отстаивать и принять всевозможные меры для удержания его за нами, но не защищать его во что бы то ни стало. Генерал Радко-Дмитриев, войска которого примыкали ко мне с севера, преимущественно по правому берегу реки Сан, заявлял, что его армия потеряла боеспособность и что для приведения ее в порядок необходимо быстро сделать крупный скачок назад, чтобы вывести ее из-под ударов противника и дать ей возможность оправиться и пополниться. Высшее командование было обратного мнения и требовало, чтобы отход совершался возможно медленнее, с возможно более продолжительными остановками на каждом рубеже. Ввиду такого расхождения во взглядах и образе действий генерал Радко-Дмитриев был смещен, и на его место был назначен командир 12-го корпуса Леш.

До описываемого времени вверенная мне армия, невзирая на всякие недочеты, была все время победоносна; частичная неудача в конце ноября 1914 года постигла только 12-й корпус, который свои дела быстро поправил. Дух войск в Карпатах был очень высок, хотя по временам я убеждался, что армия уже не та, какая была в начале кампании, и было несколько случаев сдачи в плен слабодушных людей без достаточной причины. Отступление с Карпат и тяжелое поражение, понесенное соседом нашим, 3-й армией, раздуваемое стойстой молвой, невольно поколебали уверенность в себе и в своей непобедимости; отсутствие огнестрельных припасов также имело громаднейшее влияние на самочувствие войск. Солдаты, в сущности, вполне справедливо говорили, что при почти молчащей нашей артиллерии и редкой ружейной стрельбе неприятельский огонь выбивает их в чрезмерно большом количестве и они обрекаются на напрасную смерть, причем исключается возможность победить врага, так как бороться голыми руками нет возможности. Ясно, что при такой обстановке недалеко до упадка духа. Действительно, к этому времени, то есть к маю 1915 года, огнестрельных припасов у нас было столь мало, что мы перевооружили батареи из восьми в шестиорудийный состав, а артиллерийские парки отправили в тыл за ненадобностью, ибо они были пустые.

При таких-то обстоятельствах пришлось вести отчаянную борьбу за удержание Перемышля в наших руках. Собственно, я такой цели себе не ставил, ибо в данное время Перемышль как один из участков позиции важного значения не имел, но он имел огромное моральное значение, и было понятно, что потеря Перемышля усилит упадок духа в войсках, произведет тяжелое впечатление во всей России и, наоборот, высоко поднимет дух нашего врага. Было совершенно ясно, что удержать Перемышль продолжительно при данной обстановке невозможно и можно удержать только некоторое время.

Не буду останавливаться на борьбе, которую мы выдержали у Перемышля. Это — дело военной истории, и для большой публики все перипетии этой борьбы не представляют интереса; да у меня и нет достаточных документов в руках, чтобы подробно останавливаться на описании этого момента наших боевых действий. Скажу лишь в главных чертах, что противник старался отрезать Перемышль с его гарнизоном от армии: от Радымно — Краковец — Мальнов к югу от Мосьциски, а с другой стороны, с юга, также в направлении на Мосьциску. Неприятель всеми силами старался захватить Медыку, дабы отрезать путь отступления гарнизону Перемышля, в надежде захватить там богатую добычу и пленных, чтобы достойно отплатить за взятие нами Перемышля.

Как уже раньше было сказано, ряды наших войск были малочисленны, ударная группа немцев вся легла на плечи моей армии, главным образом на ее правый фланг. Борьба во всех отношениях была непосильная, войск не хватало, и пришлось взять из Перемышля лучшую часть гарнизона, чтобы отстаивать путь отступления из Перемышля, в котором оставалось главным образом ополчение. Известно же, что ополчение, за малым исключением, было почти небоеспособно. Мне, например, было донесено, что на двух фортах западного фронта Перемышля противник спокойно резал проволоку предфортовых заграждений, а гарнизон этих фортов не только сам не мешал этому делу, но и не позволял артиллерии стрелять вследствие опасения, что сильная неприятельская артиллерия обрушится на форты. Очевидно, что такие гарнизоны легко отдали форты врагу, который таким образом попал внутрь крепости. При таких условиях удержать Перемышль дальше было невозможно, и ночью мною было приказано очистить этот участок общей позиции, чем сокращался фронт армии, и без того жидкий, приблизительно верст на 30, что имело для меня громадное значение, ибо давало мне возможность составить резервы, которые были мною все израсходованы в предыдущих боях. Я считал необходимым и после потери Перемышля удерживаться возможно дольше на занимаемом нами рубеже.

В помощь моей армии для борьбы за Перемышль были присланы 23-й армейский и 2-й Кавказский корпуса, которые высшим командованием предвзято уже были направлены на Любачув; следовательно, было уже предreshено, откуда и каким способом эти два корпуса должны ударить по неприятелю, который к этому времени частью своих сил перешел на правый берег реки Сан у Радымно. Если бы спросили меня, то я эти два корпуса ввел бы возможно более тайно в Перемышль и, присоединив к ним гарнизон крепости, неожиданно произвел бы вылазку всеми этими силами из западных фортов в тыл вражеским войскам, находившимся на правом берегу Сана, а также тем, которые были расположены на левом берегу от Ярослава до Перемышля. И это — при условии, что все войска по всему фронту одновременно ввязались бы в бой с противником, в особенности же с севера; 3-я армия должна была бы в этом случае собрать возможно больший кулак, чтобы нанести удар к югу примерно от Лежайска. Не знаю, насколько это помогло бы при недостатке огнестрельных припасов вообще, но при таком образе действий, мне казалось, были некоторые шансы на успех, размер которого

раннее опрелдилось было невозможно. При наступлении же вышеупомянутых двух корпусов от Любачува на юго-запад получалась лобовая атака противника, обладавшего громадной артиллерией и множеством пулеметов; у нас же ни орудий, ни пулеметов в достаточном количестве не было, да и артиллерийская атака, которая должна была подготовить пехотную и поддерживать ее, не могла состояться вследствие недостатка снарядов. Можно было вперед сказать, что этот недостаточный и несвоевременный кулак, пущенный в ход не в надлежащем месте, никаких осязательных результатов не даст. Нужно притом добавить, что эти два корпуса, сами по себе очень высоких боевых качеств, были плохо обучены, как и большинство войск, прибывавших к нам с севера, и атаку они произвели весьма несноровисто. Вскоре после этой атаки Перемышль пал, будучи, как я уже сказал, очищен по моему приказанию, так как гарнизон в нем более держаться не мог. Из всех фортов нами были удержаны лишь восточные — Седлиские. В общем, крепость досталась неприятелю совершенно разоруженная, без каких бы то ни было запасов; насколько мне помнится, в руки врагу попали лишь четыре орудия без замков, которые были унесены.

Было еще одно обстоятельство, мешавшее нам пополнять ряды прибывавшими солдатами: помимо того, что они были очень плохо обучены, они прибывали невооруженными, а у нас для них не было винтовок. Пока мы наступали, все оружие, оставшееся на полях сражения, — наше и неприятельское, собиралось особыми командами и по исправлении шло опять в дело; теперь же, при нашем отходе, получилось обратное; все оружие от убитых и раненых попадало в руки врага. Внутри страны винтовок не было. Приказано было легкораненым идти на перевязочные пункты обязательно с оружием, выдавались за это даже наградные деньги, но эти меры дали весьма незначительные результаты. При каждом полку — чем дальше, тем больше — росли команды безоружных солдат, которых и обучать почти было нечем. В общем, дезорганизация нашей армии, по недостатку технических средств, шла, быстро увеличиваясь, и наша боеспособность час от часу уменьшалась, а дух войск быстро падал.

Тем не менее я уповал, что на своем фронте удержусь на Сане, но совершенно для меня непредвиденно, и, к моему ужасу, я получил приказание генерала Иванова передать 5-й Кавказский корпус в 3-ю армию, 21-й корпус отослать во Львов, в резерв главнокомандующего, а 2-й Кавказский и 23-й корпуса немедленно направить в состав 9-й армии, ибо главсоюз продолжал бояться за свой левый фланг, невзирая на то, что, казалось бы, вполне выяснилось, где наносится главный удар. Таким образом, мой правый фланг, куда и наносился главный удар противника, оголялся, и между мной и 3-й армией искусственно устраивался нами значительный разрыв, который заполнить было нечем. Нельзя считать восстановлением фронта этого пустопорожного участка то, что здесь находилась 11-я кавалерийская дивизия, а на левом фланге 3-й армии был кавалерийский корпус в составе двух дивизий. Всякому понятно, что три кавалерийские дивизии не могут заменить собой четыре армейских корпуса, как бы эти дивизии ни были героически настроены. Я немедленно протелеграфировал главнокомандующему, что одновременный уход четырех корпусов с моего правого фланга, на который и производится главный напор врага, даст возможность противнику беспрепятственно и быстро глубоко охватывать мой правый фланг и что, вместо того чтобы удержаться на месте, а в крайности — медленно уходить, мне под угрозой охвата и даже окружения части моих войск придется отходить быстро и потерять всякую надежду на успешный отпор подавляющим силам противника. На это мне было отвечено, что раз Перемышль пал, то надобности для меня в таком количестве войск больше не встречается, а потому предписывается немедленно выполнить данное приказание. На это я еще раз донес, что при подобной обстановке я не буду в состоянии на следующих этапах отхода сколько-нибудь задерживаться, что мы, таким образом, немедленно потеряем Львов и в самом быстром времени приведем врага в нашу страну. И это донесение успеха не имело. Так мне и пришлось совершенно оголеть правый фланг и с полной безнадежностью смотреть на дальнейший ход событий.

Я посылал, кроме того, моего начальника штаба на автомобиле в штаб фронта, чтобы узнать, что там думают, каковы предположения высшего начальства для дальнейших действий и на что мы можем надеяться в ближайшем будущем. Вернувшийся из этой поездки начальник штаба мне доложил, что он застал штаб фронта в большом унынии, ни о каких планах действий там и не думают и на будущее смотрят чрезвычайно пессимистически, считая, что кампания нами проиграна. По вопросу об усилении отпуска оружия и огнестрельных припасов генерал Ломновский также получил самые безотрадные сведения.

Глава 6

Остановка на Буге

Как мне нетрудно было предвидеть, неприятель действительно предпринял тот образ действий, который ему указывался обстановкой, то есть он большими силами двигался в разрыв между 3-й и 8-й армиями и старался выйти мне в тыл. Понятно, невзирая на длинный фронт армии и малочисленность войск, я стянул к правому моему флангу все, что только мог, и возможно медленнее отходил от рубежа к рубежу. Я заботился только о том, чтобы в руки врага не могли попасть артиллерия, парки, обозы, транспорты, чтобы он захватил возможно менее пленных. Ведь при таких обстоятельствах упадок духа плохо обученных войск и более или менее легкая сдача в плен естественны.

Мне удалось не оставить противнику никаких трофеев и вполне благополучно отойти за реку Буг, где к этому времени на правом берегу реки была подготовлена укрепленная позиция, которую пришлось лишь усилить и развить. Штаб армии был перенесен в город Броды. Тут мною был отдан приказ по армии, в котором я объявлял войскам, что далее отходить нельзя, что мы подошли уже к нашей границе, что тут я приказываю во что бы то ни стало держаться крепко и о дальнейшем отходе не помышлять. Я заявлял, что верю в мою армию, так же как и она, я надеюсь, верит мне, что я понимаю ее тяжелое положение, ибо ее невзгоды я переживаю вместе с ней, но что на данном рубеже, как это ни трудно, необходимо остановиться и умирать за родину, но не пускать врага за нашу границу. Должен сказать, к своей радости, что армия послушалась моего воззвания, почувствовала необходимость жертвовать собой и не пустила дальше врага до тех пор, пока, как это будет видно дальше, мои соседи справа не ушли на северо-восток и между нами не оказался разрыв около 70 верст, в котором болталась наша кавалерия, храбрая, самоотверженная, но не имевшая никакой возможности задержать хлынувшие в этот громадный промежуток многочисленные полчища неприятельской пехоты.

Еще при подходе к Бугу, для того чтобы дать некоторую острastку противнику, мною было приказано 12-му армейскому корпусу с приданными ему для его усиления частями неожиданно перейти в наступление, дабы нанести короткий удар и этим временно приостановить движение противника. Приостановка давала возможность войскам более спокойно перейти на правый берег Западного Буга и подготовиться к обороне этой реки. Это и было выполнено, хотя вследствие некоторых ошибок начальствующих лиц этот удар не

дал плодотворные результаты в тех размерах, которых я ожидал. Нужно, однако, признать, что при том состоянии духа, в котором находились войска, нельзя было ожидать чего-нибудь блестящего. Это короткое наступление было произведено по моей личной инициативе, без всяких указаний свыше.

Для пояснения дальнейшего мне необходимо упомянуть, что за крайне неудачные распоряжения главнокомандующего фронтом Иванова пострадал не он, а его начальник штаба генерал Драгомиров, который был отчислен в резерв. Новым начальником штаба фронта был назначен генерал Саввич, служивший прежде в корпусе жандармов.

В скобках говоря, я никогда не понимал, почему за ошибки в распоряжениях или из-за неудачных действий страдает не сам начальник, под флагом которого отдавались или осуществлялись те или иные приказания, а соответствующий начальник штаба, который, по закону, лишь исполнитель велений и распоряжений своего принципала. Между тем распространенная в нашей армии подобная система как бы указывает, что начальник штаба должен играть роль какого-то дядьки, а сам глава как бы лицо подставное, так сказать парадное. Мне всегда казалось, что начальнику штаба придавать такое чрезмерное значение не следует. Ответственное лицо должно быть только одно — сам начальник, а не его исполнительные органы, чины штаба, под каким бы наименованием они ни значились; если же начальник не соответствует своей должности, то не дядьку следует менять, а самого начальника смещать.

Как бы то ни было, но с назначением генерала Саввича начальником штаба фронта я стал получать все более и более неприятные телеграммы с разными указаниями и приказаниями, которые или давно были выполнены, или совершенно не отвечали обстановке. Правда, мое начальство любезностью меня никогда не баловало, и насколько Верховный главнокомандующий относился ко мне справедливо, настолько же главнокомандующий армиями фронта, то есть мой непосредственный начальник, относился ко мне пристрастно и недоброжелательно, невзирая на то, что вверенная мне армия более, чем какая-либо другая армия его фронта, доставила ему честь, славу и высокие награды. Говорили, что такое неприязненное ко мне отношение происходит по той якобы причине, что генерал Иванов видит во мне опасного заместителя; но я этому не придавал никакого значения. Изложу столкновение, которое у меня вышло с ним в начале пребывания моей армии на Буге.

После ряда неприятных телеграмм я получил одну длиннейшую, в которой излагался ряд обвинительных пунктов, ошибок, которые, по мнению моего начальства, были сделаны во время нанесения короткого удара войсками моего правого фланга. В телеграмме вину не меня, а все валили на моего начальника штаба, но выходило так, что я или пешка в руках своего штаба, или же (на это намекалось в вежливой форме) не соответствую моему назначению. Эта телеграмма не совпадала с другой, полученной мною от Верховного главнокомандующего, который благодарил меня за проведение отступления моей армии и просил лишь не терять присущей мне бодрости духа в дальнейших моих действиях. Совпадение этих телеграмм нельзя не признать странным по диаметрально противоположной оценке результата моих действий. Я уже ранее был чрезвычайно раздражен несправедливыми, по моему мнению, нападками генерала Иванова и считал, что нужно положить предел подобному ко мне отношению, от которого страдали дело само по себе, а также мои непосредственные подчиненные. На этом основании я послал телеграмму великому князю Николаю Николаевичу, в которой, ссылаясь на последнюю полученную мною телеграмму генерала Иванова, доносил, что при подобных условиях службы я пользы приносить не могу, а потому прошу отчислить меня от командования армией.

Я стал было укладываться и готовиться к сдаче своей должности и к отъезду. Однако я получил ответ главковерха, в котором он мне наотрез отказывал в смене, выражая мне свою благодарность за прошедшую боевую службу, но с оговоркой, что я обязан выполнять веления моего главнокомандующего. Эта последняя фраза, по правде сказать, была мне непонятна, ибо приказания начальства мною неизменно выполнялись. Если же я иногда и протестовал против них, то лишь тогда, когда по долгу службы и ради пользы нашего дела считал необходимым ранее выполнения приказа объяснить ту обстановку, в которой я находился и которая, по-видимому, была неизвестна в штабе фронта. Из последней фразы телеграммы я понял, что мое начальство на меня жаловалось, вероятно в ответ на запрос Верховного главнокомандующего.

Тогда я поехал в штаб фронта в город Ровно, предварительно испросив на это разрешение. Иванов принял меня довольно любезно, мне даже казалось, что он был несколько смущен. Он сказал, что совершенно не понимает, чем я обижен, так как его критика касалась не меня, а моего штаба. Я ему ответил, что мой штаб находится под моим непосредственным начальством, сам по себе ничего штаб делать не может, но если даже считать, что штаб плохо исполняет мои приказания, то опять-таки главный виновник — я, ибо я обязан наблюдать за действиями и работой моего штаба и должен устранять тех лиц, которые не соответствуют своему назначению. Я же считаю, что и начальник штаба генерал Ломновский и весь штаб работают хорошо, а если главнокомандующий недоволен, то единственный виновник — я, а вовсе не штаб; в общем, я заявил Иванову, что, невзирая на телеграмму великого князя, которую я тут же представил, я могу оставаться командующим армией только в том случае, если я пользуюсь полным доверием моего главнокомандующего, иначе будет вред для наших боевых действий. Поэтому я настоятельно просил его прямо мне сказать: 1) пользуюсь ли я его доверием и 2) что он имеет лично против меня. На столь прямо поставленный вопрос я ответа, в сущности говоря, не получил, ибо в очень продолжительной беседе мне объяснялись разные эпизоды из японской кампании, которые не имели отношения к делу; причем говорилось также, что нет основания мне не доверять и что лично против меня ничего не имеют; все это пересыпалось всевозможными рассказами, предмета нашей беседы совершенно не касавшимися. В результате оснований для ухода с моего поста я не получил, да мне в сущности и жалко было покидать армию в то время, когда наши дела были плохи и когда мы обязаны были напрячь все наши силы, чтобы спасти Россию от нашествия. Пообедав у главнокомандующего вместе с его начальником штаба генералом Саввичем, которого я раньше не знал, я вынес убеждение, что это — тип так называемой лисы-патрикеевны и что мне и в будущем ничего приятного в сношениях с этим штабом не предстоит. Во всяком случае, острастку я дал и надеялся, что в дальнейшем мои отношения будут не столь натянуты, в чем и не ошибся.

В начале задержки нашей на Буге пришлось отбить несколько наступлений, в особенности на правом фланге армии, а затем противник в свою очередь зарылся на левом берегу Буга, причем мне приходилось отвечать ему чрезвычайно редким ружейным и в особенности артиллерийским огнем, что очень обескураживало войска. Перемешанные во время отступления части войск, которые приходилось бросать по мере надобности из одного корпуса в другой, были мною теперь восстановлены в своей нормальной организации, а прибывавшие в пополнение форменные неучи усиленно обучались в тылу каждой дивизии.

Беда заключалась лишь в том, что винтовок было чрезвычайно малое количество. Отчасти мы пополнялись ружьями, взятыми у

австрийцев и немцев, но это была капля в море, да и патронов к этим винтовкам было весьма недостаточно. Кадровых офицеров, как я уже говорил, в строю было очень мало, примерно человек пять-шесть на полк; остальной состав офицеров, также в недостаточном количестве, состоял из прапорщиков, наскоро и плохо обученных. Впрочем некоторые из них уже впоследствии на практике выработались в хороших командиров. Были не только роты, но и батальоны, во главе которых находились малоопытные прапорщики. Старых унтер-офицеров также почти не было, а пополнялись они восстановленными полковыми учебными командами, из которых ускоренным курсом выпускались столь же малоопытные унтер-офицеры. В каждой роте можно было найти в среднем четыре — шесть рядовых старого состава, все же остальные нижние чины были в сущности плохо обученные милиционеры, а не настоящие солдаты регулярной армии. За год войны обученная регулярная армия исчезла; ее заменила армия, состоявшая из неучей. Только высокие боевые качества начальствующего персонала, личное самопожертвование и пример начальников могли заставить такие войска сражаться и жертвовать собой во имя любви к родине и славы ее. Более чем в каких-либо других войсках в данном случае можно было сказать: «Каков поп, таков и приход». Для характеристики приведу один пример.

Недавно назначенный командир 12-го армейского корпуса, занимавшего позицию на крайнем правом фланге армии, впоследствии столь известный по Гражданской войне генерал Каледин, однажды ночью мне донес, что противник переправился через Буг, опрокинул занимавшие окопы передовые части войск его корпуса и значительными силами продолжает наступать дальше. Я вызвал Каледина для разговора по прямому проводу и спросил его, почему же он не вводит в дело своих резервов из частей войск, которых у него достаточно, чтобы отбросить неприятеля обратно на левый берег Буга. Он мне ответил, что совершенно неустойчива 12-я пехотная дивизия, прежде столь храбрая и стойкая, и что ни начальник дивизии, ни он ничего с нею поделать не могут и при нажиме противника она немедленно начинает уходить. По его мнению, начальник дивизии изнервничался, ослабел духом и не в состоянии совладать со своими частями. Меня это огорчило, потому что до того времени это был отличный боевой генерал, георгиевский кавалер, державший свою дивизию в порядке. Очевидно, отступление наше с Карпатских гор его расстроило духовно и телесно.

Колебаться нечего было, и я тут же отдал Каледину приказание моим именем отрешить начальника 12-й дивизии от командования и назначить на его место начальника артиллерии корпуса генерал-майора Ханжина, которого я знал еще с мирного времени и был уверен, что этот человек не растеряется. Ханжин оправдал мои ожидания. Подъехал к полку, который топтался на месте, но вперед не шел, и, ободрив его несколькими прочувствованными словами, он сам стал перед полком и пошел вперед. Полк двинулся за ним, опрокинул врага и восстановил утраченное положение. Не покажи Ханжин личного примера, не поставь он на карту и свою собственную жизнь, ему, безусловно, не удалось бы овладеть полком и заставить его атаковать австро-германцев. Такие личные примеры имеют еще то важное значение, что, передаваясь из уст в уста, они раздуваются, и такому начальнику солдат привыкает верить и любить его всем сердцем.

Кстати скажу несколько слов о генерале Каледине, который сыграл во время революции на Дону большую роль. Я его близко знал еще в мирное время. Дважды он служил у меня под началом, и я изучил его вдоль и поперек. Непосредственно перед войной он командовал 12-й кавалерийской дивизией, входившей в состав моего 12-го армейского корпуса. Он был человеком очень скромным, чрезвычайно молчаливым и даже угрюмым, характера твердого и несколько упрямого, самостоятельного, но ума не обширного, скорее, узкого, что называется, ходил в шорах. Военное дело знал хорошо и любил его. Лично был он храбр и решителен. В начале кампании, в качестве начальника кавалерийской дивизии, он оказал большие услуги армии в двух первых больших сражениях, отлично действовал в Карпатах, командуя различными небольшими отрядами. Весной 1915 года недалеко от Станиславова он был довольно тяжело ранен в ногу шрапнелью, но быстро оправился и вернулся в строй. По моему настоянию он был назначен командиром 12-го армейского корпуса, и тут оказалось, что командиром корпуса он был уже второстепенным, недостаточно решительным. Стремление его всегда все делать самому, совершенно не доверяя никому из своих помощников, приводило к тому, что он не успевал, конечно, находиться одновременно на всех местах своего большого фронта и потому многое упускал. Кавалерийская дивизия — по своему составу небольшая, он ее долго командовал, его там все хорошо знали, любили, верили ему, и он со своим делом хорошо управлялся. Тут же, при значительном количестве подчиненных ему войск и начальствующих лиц, его недоверчивость, угрюмость и молчаливость сделали то, что войска его не любили, ему не верили; между ним и подчиненными создалось взаимное непонимание. На практике на нем ясно обнаружилась давно известная истина, что каждому человеку дан известный предел его способностям, который зависит от многих слагаемых его личности, а не только от его ума и знаний, и тут для меня стало ясным, что в сущности пределом для него и для пользы службы была должность начальника дивизии; с корпусом же он уже справиться хорошо не мог.

Во время стояния на Буге генерал Владимир Драгомиров опять получил 8-й армейский корпус; я же хотел выделить и начальника моего штаба генерал-майора Ломновского и потому ходатайствовал о его назначении на должность начальника 15-й пехотной дивизии в том же корпусе. Мне жаль было расставаться с таким отличным ближайшим помощником, но я считал долгом выдвинуть его. Продолжительное исполнение такой каторжной по количеству работы должности, как начальник штаба армии, вконец истомило его и расшатало его нервы. По получении им дивизии уже через месяц его нельзя было узнать. За это время он пополнел, передохнул, и строевая служба вместо штабной дала ему новые силы и бодрость духа. Заместил я его генерал-майором Сухомлиным, который, в бытность мою командиром 14-го армейского корпуса, командовал у меня полком. Он был человек очень аккуратный, чрезвычайно исполнительный и старательный. Были у него некоторые недочеты в смысле чрезмерно бережливого отношения к своему здоровью, но это не мешало ему прекрасно выполнять свои обязанности, и в общем я был им вполне доволен.

За это время войска несколько пополнились, и хотя с большим трудом вследствие недостатка ружей, заменив частью наши винтовки австрийскими, удалось довести большую часть дивизий до пяти-семитысячного состава, тогда как в начале нашего стояния на Буге в дивизиях в среднем было по 3000—4000 винтовок. Людей, прибывших на укомплектование, было много, но вооружать их было нечем, и они в тылу своих частей обучались, а главным образом, старательно питались хорошими щами и жирной кашей, ибо в то время мы еще могли хорошо кормить бойцов. Во вторую половину лета 1915 года противник нас мало беспокоил и занимался лишь перестрелкой, не жалея огнестрельных припасов, которые у него были в изобилии, к большой досаде наших войск. В это время шло наступление немцев и австрийцев на наши Северо-Западный и Западный фронты, и пали все наши пограничные крепости, между прочим и Новогеоргиевск, который был мне близко знаком.

Хотя Новогеоргиевск считался нашей лучшей крепостью и на него в последние годы тратились большие суммы, но по постройке он далеко не был современной крепостью и, конечно, не в состоянии был противостоять продолжительное время огню современной тяжелой артиллерии. Во время его перестройки на новый лад были большие колебания. Одно время, при Сухомлинове, и эту крепость

вспархивание в числе нескольких других. Перед этим вспархивание японской войны и некоторое время после нее никаких сумм на укрепление этой крепости не назначалось, а затем уже спешно начали строить новые форты и перестраивать старые, но к 1914 году эта крепость далеко не была приведена в надлежащий вид. Например, ее железобетонные сооружения были такой толщины, что могли противостоять снарядам лишь 6-дюймовых орудий. У нас было твердое убеждение, что артиллерию большого калибра подвезти нельзя, а немцы сумели скрыть те чудовищные калибры орудий, которые они приготовили для быстрой атаки крепостей, что впервые обнаружилось во время прохождения их через Бельгию. Но и помимо этого важного обстоятельства уничтожение у нас специальных крепостных войск имело пагубное влияние на силу сопротивляемости наших крепостей.

Меня несколько не удивило известие, что Новогеоргиевск был взят немцами в одну неделю: я знал, каков был гарнизон этой крепости. Помимо ополчения, которое как боевая сила было ничтожно, в состав гарнизона этой крепости была послана из моей армии, по назначению главнокомандующего, одна второочередная дивизия, которая была взята мною в тыл для пополнения. В ней оставалось всего 800 человек; начальником дивизии вместо старого, получившего корпус, назначен был генерал-лейтенант де Витт, который, очевидно, не успел ознакомиться ни с кем из своих подчиненных, да и его никто не знал. К нему подвезли для пополнения, насколько мне помнится, около 6000 ратников ополчения, а для пополнения офицерского состава — свыше 100 только что произведенных прапорщиков. И вот, не дав ему даже времени разбить людей по полкам, а полкам сформировать роты и батальоны, всю эту разношерстную толпу засунули в вагоны и повезли прямо в Новогеоргиевск; там их высадили как раз к тому времени, когда немцы повели атаку на эту крепость. Мне неизвестно, успел ли де Витт сформировать там свои полки, но я твердо убежден, что он не имел никакой возможности, по недостатку времени, придать этой толпе какой бы то ни было воинский вид. А между тем считалось, что комендант крепости получил в состав гарнизона регулярную дивизию, отличившуюся во многих боях. Можно ли винить коменданта с таким гарнизоном, которого он раньше и в глаза не видел, если оказалось, что он сопротивляться не мог?

Другая крепость, также хорошо мне известная в бытность мою помощником командующего войсками Варшавского военного округа — Брест-Литовск — была еще значительно хуже оборудована, чем Новогеоргиевск. Ее форты были еще менее современны, а восточный форт и совсем защищен не был, поэтому сопротивляемость крепости оказалась нулевой, и при подходе неприятельских сил гарнизон ее по приказанию свыше без боя спешно эвакуировался, причем, насколько до меня доходили известия, не успели даже сжечь то громадное количество имущества, которое находилось в этой крепости.

Во время летнего наступления 1915 года на наши Северо-Западный и Западный фронты наши армии отступали чрезвычайно быстро, уступая противнику громадное пространство нашего отечества; насколько я могу судить по доходившим до меня в то время сведениям, во многих случаях это происходило без достаточного основания.

Вскоре после этих горестных событий было обнародовано, что верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич смещен и назначен кавказским наместником, а должность Верховного главнокомандующего возложил на себя сам государь. Впечатление в войсках от этой замены было самое тяжелое, можно сказать — удручающее. Вся армия, да и вся Россия, безусловно, верила Николаю Николаевичу. Конечно, у него были недочеты, и даже значительные, но они с лихвой покрывались его достоинствами как полководца. Подготовка к этой мировой войне была неудовлетворительна, но тут Николай Николаевич решительно был ни при чем, в особенности же — в недостатке огнестрельных припасов войска винили не его, а военное министерство и вообще тыловое начальство. Во всяком случае, даже при необходимости сместить Николая Николаевича, чего в данном случае не было, никому в голову не приходило, что царь возьмет на себя при данной тяжелой обстановке обязанности Верховного главнокомандующего. Было общеизвестно, что Николай II в военном деле решительно ничего не понимал и что взятое им на себя звание будет только номинальным, за него все должен будет решать его начальник штаба. Между тем, как бы начальник штаба ни был хорош, допустим даже — гениален, он не может, по существу дела, заменить везде своего начальника, и, как это дальше будет видно, отсутствие настоящего Верховного главнокомандующего очень сказалось во время боевых действий 1916 года, когда мы по вине Верховного главнокомандования, не достигли тех результатов, которые могли легко повести к окончанию вполне победоносной войны и к укреплению самого монарха на колебавшемся престоле.

Начальником штаба при государе состоял генерал Алексеев. Я уже раньше о нем говорил. Теперь лишь повторяю, что он обладал умом, большими военными знаниями, быстро соображал и, несомненно, был хороший стратег. Считаю, что в качестве начальника штаба у настоящего главнокомандующего он был бы безупречен, но у такого верховного вождя, за которого нужно было решать, направлять его действия, поддерживать его постоянно колеблющуюся волю, он был совершенно непригоден, ибо сам был воли недостаточно крепкой и решительной. Кроме того, он не был человеком придворным, чуждался этой сферы, и ему под напором различных влияний со всевозможных сторон было часто не под силу отстаивать свои мнения и выполнять надлежащим образом те боевые задачи, которые выпадали на русскую армию. Принятие на себя должности Верховного главнокомандующего было последним ударом, который нанес себе Николай II и который повлек за собой печальный конец его монархии.

Значительный разрыв, который произошел между нашим Юго-Западным фронтом, на правом фланге которого очутилась моя 8-я армия, и левым флангом Западного фронта, произошел вследствие того, что у нас с давних пор считалось аксиомой, что Полесье совершенно непригодно для ведения операций значительными силами. У нас думали, что в лучшем случае там можно вести войну партизанскими отрядами, сплошного же боевого фронта ни в каком случае в этом районе быть не может. Насколько я знаю, такое свойство Полесья, выгодное для ведения оборонительной войны, намечавшей разделить наступающие неприятельские силы на две части — одна севернее Полесья, а другая южнее его, — привело к тому, что в мирное время тщательно избегали работ, могущих в значительной мере осушить Полесье и сделать его доступным для ведения операций в широких, размерах. Основываясь на этом убеждении, Западный фронт, отступая в глубь России, двигался в северо-восточном направлении, и таким образом постепенно между моим правым флангом и левым флангом армий Западного фронта образовался промежуток приблизительно около 70 верст.

В последнее время противник на моем фронте в общем беспокоил меня мало и шевелился более или менее энергично лишь на моем правом фланге, где ему и давался надлежащий отпор. Когда явился разрыв, о котором я только что сказал, мой крайний фланг обнажился, так как в образовавшемся промежутке болтались большая часть моей конницы и кавалерийский корпус моих соседей, которые никакого серьезного значения для обороны такого большого пространства, да еще в болотах, иметь не могли. Ясная вещь, что противник с большими силами всех трех родов войск хлынул для охвата моего правого фланга.

Собрать уступ больших резервов за моим правым флангом мне не представлялось возможным, потому что около половины войск 8-й армии распоряжением Верховного главнокомандования было переброшено на север, а потому выставленный мною уступ мог иметь только второстепенное значение. Стало очевидным, что далее держаться на Буге невозможно, и главнокомандующий Юго-Западным фронтом отдал приказание отходить в наши пределы с таким расчетом, чтобы моим правым флангом я мог дотянуть до города Луцка, так как считалось, что севернее находятся уже непроходимые болота, в которых могут действовать лишь мелкие части. Дотянуть находившимся у меня войскам до Луцка, имея перед собой многочисленного врага, было фактически невозможно, о чем мною было своевременно донесено. Моим начальством это было признано правильным. Мне было сообщено, что для усиления моей армии будет прислан 39-й армейский корпус, который в то время составлялся из дружин ополчения.

Я уже раньше имел случай сказать, что эти дружины не представляли собой никакой боевой силы. Их корпус офицеров, за малым исключением, никуда не годился, много офицеров было взято из отставки — старые, больные, отставшие от службы, да и их было очень мало. Солдаты старших сроков службы твердо знали и были убеждены, что их обязанность — оберегать тыл и нести там службу, но отнюдь не сражаться на фронте с неприятелем. Молодые, неопытные офицеры и почти совсем необученные ратники ополчения ни в каком случае не могли считаться до поры до времени удовлетворительным боевым элементом. Присылка мне на подкрепление такого корпуса, да еще на правый фланг, который должен был выдержать серьезное испытание, меня глубоко возмутила; перегруппировать же войска в это время не было никакой возможности. Приходилось, однако, довольствоваться тем, что мне было дано, и вспоминать пословицу: «На тебе, боже, что мне не гоже».

Так как промежуток между Западным фронтом и 8-й армией уже был значительный (моя разведка мне доносила, что противник быстро наступает), я просил разрешения отходить по моему усмотрению, так как все равно отход был неизбежен, а планомерное, спокойное отступление войск имело большое значение для устойчивости фронта. Однако я решительно не знаю, по каким соображениям меня продержали еще три дня на Буге и разрешили отходить уже тогда, когда противник меня на фланге опередил. Формировавшийся 39-й корпус должен был подвигаться к Луцку. Командир этого нового корпуса, генерал Стельницкий, явился ко мне в единственном числе; очевидно, невзирая на свои отличные боевые качества, он не мог один заменить собой двух дивизий, хотя бы и плохих. Тем не менее я его послал в Луцк поджидать свои части. У него, впрочем, в руках было два или три батальона, и я послал к нему еще Оренбургскую казачью дивизию.

Войска по всему фронту армии отошли вполне спокойно, отбрасывая противника, когда он пытался нас преследовать. Тыл армии заблаговременно был оттянут назад, и в этом отношении отход был произведен в полном порядке, лишь у Луцка неприятель нас опередил, ибо в это время из 39-го корпуса были только телеграммы, но ни одного человека. Луцк заблаговременно, распоряжением штаба фронта, был очень сильно укреплен, но по преимуществу к югу, откуда никакой опасности теперь не было, и более слабо — к западу, откуда неприятель напирал. Генерал Стельницкий, невзирая на свое критическое положение, сделал вид, что желает защищать Луцк. Этим он принудил австрийцев приостановиться, чтобы подтянуть свои войска и тяжелую артиллерию, так как они, по-видимому, предполагали, что на правом фланге у нас находятся большие силы. Но, разобравшись, они выяснили, что перед ними в сущности одна спешенная конница, и потому хитрость Стельницкого, надеявшегося, что он выиграет время и его войска начнут к нему прибывать, не удалась. Он принужден был отходить по дороге Луцк — Ровно, куда перешел штаб армии; первые эшелоны своего корпуса, которого раньше в глаза не видел, встретил в Клевани (в 20 верстах западнее Ровно), куда я спешно направлял один эшелон за другим. Войска прямо из вагонов попадали в огонь и получали боевое крещение при совершенно незнакомой обстановке, неспянные и не знавшие своего начальства.

Было весьма мало шансов удержаться на реке Стубель, тем более что противник показался и севернее моего правого фланга, и даже было получено донесение, что к Александрии (в 15 верстах северо-восточнее Ровно) прибыл неприятельский кавалерийский разъезд, показавший, что за ним следует кавалерийская дивизия. Имея при штабе армии одну дружину ополчения и конвойный сводный эскадрон, я выслал этот эскадрон и три роты дружины в направлении на Александрию и двинул туда же Оренбургскую казачью дивизию. Вот все, что я мог сделать, чтобы в данный момент хоть сколько-нибудь прикрыть тыл моего правого фланга и штаб армии: это, впрочем, временно и оказалось достаточным. Кроме того, я спешно перевел к Клевани в распоряжение Стельницкого 4-ю стрелковую дивизию, чтобы он ее поставил в центре своего корпуса на шоссе Луцк — Ровно, имея две свои только что сформированные дивизии 100-ю и 105-ю на флангах; опираясь на «железную» дивизию, фронт получился достаточно устойчивый, чтобы задержать врага на Стубеле.

Зная Стельницкого как человека очень храброго и распорядительного, я временно успокоился за свой правый фланг. У Деражни и севернее я сосредоточил 7-ю и 11-ю кавалерийские дивизии и ту же Оренбургскую казачью. Однако с таким положением дела я помириться не мог и настоятельно просил генерала Иванова усилить меня еще одним корпусом, заявляя, что в случае такого подкрепления я буду иметь возможность перейти в короткое наступление, нанести сильный удар противнику с охватом его левого фланга и восстановить и укрепить устойчивость моего правого фланга. После различных препятствий, о которых тут не стоит говорить, мне несколько времени спустя был назначен в подкрепление 30-й армейский корпус, во главе которого стоял генерал Зайончковский.

Я был очень рад этому назначению, так как знал Зайончковского уже давно и считал его отличным и умным генералом. У него была масса недругов, в особенности среди его товарищей по службе Генерального штаба. Хотя вообще офицеры Генерального штаба друг друга поддерживали и тащили кверху во все нелегкие, но Зайончковский в этом отношении составлял исключение, и я редко видел, чтобы так нападали на кого-либо, как на него. Объясняю я себе это тем, что по складу и свойству его ума, очень едкого и часто злого, он своим ехидством обижал своих штабных соратников.

К этой характеристике можно еще прибавить, что это был человек очень ловкий и на ногу не давал себе наступать, товар же лицом показать уметь. Что касается меня, то я его очень ценил, считая одним из наших лучших военачальников, невзирая на его недостатки. Но у кого их нет? Его достоинства значительно превышали его недочеты.

30-й армейский корпус был отправлен мною на реку Горынь, он сосредоточился у Степани. Как только большая его часть была подвезена, я вызвал для разговора по прямому проводу начальника штаба фронта генерала Саввича, прося его доложить Иванову, что я предполагаю перейти в наступление моим правым флангом, дабы отбросить противника за реку Стирь и занять Рожище — Луцк. На это мне Саввич ответил, что доложить он, конечно, может, но что едва ли главнокомандующий согласится на какие-нибудь

наступательные операции, так как при настоящем положении дел он считал их бесполезными. Я ему ответил, что ни о каких больших наступательных операциях и разговора нет, что я также считаю их в настоящее время бесполезными и желаю лишь нанести противнику, как только что сказал, короткий удар, дабы выпрямить фронт по реке Стырь. После некоторых переговоров главнокомандующий согласился наконец на мое предложение, и я тотчас же сделал соответствующее распоряжение, придав 30-му корпусу 7-ю кавалерийскую дивизию.

Парад в Харькове 22 июня (5 июля) 1919 года. В центре Иван Романовский и Деникин

Наступление Зайончковского было проведено умело и настойчиво, причем было рассчитано так, что части 30-го корпуса и 7-я кавалерийская дивизия все время охватывали левый фланг противника, заставляя его быстро отходить, 39-й же корпус генерала Стельницкого вел бой с фронта, задерживая австро-германцев, дабы дать возможность 30-му корпусу производить охваты возможно глубже. В результате Луцк был взят, и мы заняли по Стыри ту линию, которую я наметил. Тут произошел один инцидент, характеризующий генералов, принимавших участие в этом наступлении. При подходе к Луцку Стельницкий доносил, что начальник 4-й стрелковой дивизии Деникин затрудняется штурмовать этот город, сильно укрепленный и защищаемый большим количеством войск. Я послал тогда телеграмму Зайончковскому с приказанием атаковать Луцк с севера, чтобы помочь Деникину. Зайончковский тотчас же сделал соответствующие распоряжения, но вместе с тем в приказе по корпусу объявил, что 4-я стрелковая дивизия взять Луцк не может и что эта почетная задача возложена на его доблестные войска. Этот приказ, в свою очередь, уколол Деникина, и он, уже не отговариваясь никакими трудностями, бросился на Луцк, одним махом взял его, во время боя въехал на автомобиле в город и оттуда прислал мне телеграмму, что 4-я стрелковая дивизия взяла Луцк. В свою очередь Зайончковский доносил, что без движения с севера Деникин Луцка взять бы не мог и что честь этого дела принадлежит 30-му корпусу, в чем он, в сущности, был прав. Впоследствии оба эти генерала смотрели друг на друга очень враждебно и примириться так и не могли.

В действительности, конечно, честь этого дела принадлежит обоим корпусам. Я привел этот инцидент как пример, до чего чутки в военное время войсковые части и их начальники к своим боевым отличиям и как часто решение дела зависит от их соревнования. Деникин, который играл такую большую роль впоследствии, был хороший боевой генерал, очень сообразительный и решительный, но всегда старался заставить своих соседей порядочно поработать в свою пользу, дабы облегчить данную им для своей дивизии задачу; соседи же его часто жаловались, что он хочет приписывать их боевые отличия себе. Я считал естественным, что он старается уменьшить число жертв вверенных ему частей, но, конечно, все это должно делаться с известным тактом и в известных размерах. И нужно думать не только о себе, но главным образом об общей пользе, что, к сожалению, не всегда бывает.

Через несколько дней после перехода нашего на Стырь воздушная разведка мне донесла, что значительные силы немцев, в общем примерно около двух пехотных дивизий, двигаются с северо-востока на Колки. Было ясно, что противник направлял около корпуса с таким расчетом, чтобы выйти на правый фланг вверенной мне армии и в свою очередь постараться отбросить нас обратно на восток. Я немедленно двинул к Колкам обе дивизии 30-го корпуса и усилил его 4-й стрелковой и 7-й кавалерийской дивизиями, считая эти силы совершенно достаточными, чтобы парировать маневр немцев. Кроме того, на всякий случай я взял одну дивизию в резерв, в мое распоряжение, расположив ее в районе Клевань — Олыко. При таком расположении сил я считал свое положение крепким.

К сожалению, на это дело в штабе фронта взглянули иначе, и совершенно неожиданно для меня в один скверный вечер, когда мои распоряжения приводились в исполнение, я получил длинную шифрованную телеграмму от главнокомандующего. По расшифровке ее, что отняло время, выяснилось, что штаб фронта предписывает произвести следующую операцию собственного измышления: правому флангу моей армии предписывалось в тот самый вечер отойти от Луцка обратно на Стубель с таким расчетом, чтобы к утру быть опять на старых позициях, 30-му же корпусу с приданными ему частями спрятаться в лесу восточнее Колков, и когда немцы вытянутся по дороге из Колков на Клевань, то неожиданно ударить им во фланг, разбить их и затем вновь остальными войсками правого фланга перейти в наступление. Предписывалось этот удивительный план произвести немедленно и безоговорочно.

Я ответил шифрованной же телеграммой, что повеление главнокомандующего выполняю, но считаю долгом службы донести, что телеграмму я получил в 7 часов вечера, расшифровка отняла время, написать новые директивы также требуется время, отправка по телеграфу, расшифровка корпусными командирами новой директивы, составление новых приказов в штабах корпусов, а затем дивизий, рассылка в полки новых распоряжений и доведение их до рот включительно требуют не менее 10–12 часов. При этом такая спешка вызовет неминуемую суету и беспорядок во время этой щекотливой операции и большое неудовольствие в войсках, которые после удачного наступления должны бросать взятые с бою позиции и уходить назад. Поэтому в этот вечер ни в каком случае незаметного отхода быть не может, а состоится он с вечера другого дня. Кроме того, одним махом перескочить в течение одной ночи, когда войска двигаются медленно, со Стыри на Стубель невозможно, так как тут около 50 верст расстояния, и в одну ночь сделать такой переход, сохраняя хоть какой-нибудь порядок, нельзя: требуется два перехода, и воздушная разведка противника выяснит наше отступление. Приказание главнокомандующего оставить в окопах разведчиков и дивизионную конницу, чтобы замаскировать наш отход, цели не достигнет, ибо артиллерию оставить с разведчиками я не могу, чтобы ее не потерять, а отсутствие артиллерии не может не быть замечено неприятелем. Наконец, трем дивизиям пехоты и одной кавалерийской у Колков в лесу спрятаться нельзя: там масса обширных болот, германский корпус идет, очевидно, с разведкой и не может пропустить незамеченной такую массу наших войск, войска же эти в болотах атаковать могут совершенно иначе, чем на сухой местности, и никакой неожиданной атаки произойти не может. На основании всего вышеизложенного я доносил, что слагаю с себя всякую ответственность за успех этой операции. Мое донесение, или вернее критика плана действий, мне предписанных, успеха не имело, приказание оставалось в силе и было выполнено.

Естественно, что неприятель утром же заметил наш отход, и мы с боем должны были ни с того ни с сего отступать. Точно так же и 30-й корпус, как ни старался скрыться, был обнаружен немцами, и вышла обоюдная фронтальная атака, которая привела к тому, что обе стороны частью зарылись в землю, а частью в местах болотистых, которыми эта местность изобилует, начали устраивать окопы поверх земли. В результате этих действий получилось, что мой правый фланг протянулся дальше к северу, до Колков на Стыри, но так как противник занял Чарторыйск на левом берегу этой реки, а затем и станцию железной дороги этого наименования, то пришлось и далее протягивать мой фронт все более к северу, до Кухоцкой Воли, где и был стык с 3-й армией. На более пассивных участках пришлось поставить конницу, а не активную пехоту. Весь 30-й корпус и три дивизии конницы, в сущности, зарыться в землю не могли, так же как и правый фланг 39-го корпуса; на участках расположения этих частей, вследствие сильной заболоченности этих мест, пришлось произвести

огромные саперные работы. Пришлось устраивать бесконечные гати, массу мостов, окопы же не врывать в землю, а строить их из бревен, прикрытых с наружной стороны землею, так как углубляться в землю было невозможно по причине близости грунтовых вод.

Материала для выполнения этих работ было сколько угодно, так как вся местность сплошь покрыта лесами. Выяснилось, что хотя и с большими затруднениями и несколько иным порядком, но воевать в Полесье значительными массами можно: 3-я армия почти вся оказалась в болотах, и против нее был многочисленный противник.

Глава 7

Зима 1915/16 года

Вскоре после Луцкой операции царь приехал на Юго-Западный фронт и объезжал армии. Между прочим, приехал и в Ровно, где был расположен штаб моей армии, вместе с главнокомандующим фронтом генерал-адъютантом Ивановым. Свитский поезд, прибывший за час ранее царского, чрезвычайно беспокоился, что могут появиться неприятельские самолеты, которые нас действительно постоянно посещали и бросали бомбы. Начальник царской охраны мне передал, что главнокомандующий приказал остановить царский поезд не на железнодорожной платформе, а где-нибудь раньше, по возможности незаметно. На это я ему ответил, что в данный момент эта предосторожность совершенно излишня, так как все небо покрыто низкими густыми тучами, и безусловно, никакой неприятельский самолет появиться не может, да и у меня тут собрано восемь самолетов, которые не допустят появления неприятельского, тем более что время клонится к вечеру.

В почетный караул я поставил роту ополчения из моего конвоя. По прибытии царь, выслушав мой рапорт, спросил, в скольких верстах от Ровно находится противник. Я ему ответил, что верстах в 25 и что приготовленная для представления ему недавно сформированная 100-я дивизия расположена в 18 верстах отсюда. При этом я считал долгом предупредить, что место, на котором она сосредоточена, находится под огнем тяжелой артиллерии противника; я добавил, что считаю вполне безопасной поездку туда, так как при тумане неприятель, конечно, стрелять не будет: без корректирования стрельбы он зря снарядов не выпускает. Царь вполне с этим согласился, и в автомобилях мы поехали на место смотра. По моей просьбе царь наградил несколько нижних чинов георгиевскими крестами и медалями за оказанные ими раньше боевые отличия и пропустил войска мимо себя церемониальным маршем. Его сопровождал наследник. Как и прежде, бросалось в глаза неумение царя говорить с войсками, он как бы конфузился и не знал, что сказать, куда пойти и что делать, поэтому не удивительно, что войска были как бы замороженными и не выказали никакой радости и подъема духа. По окончании смотра царь проехал еще несколько вперед и осмотрел перевязочный пункт, где лежало несколько раненых солдат, которых до того, пока им сделают операции, нельзя было перевезти вследствие крайне тяжелых ран.

Генерал Иванов в течение этой царской поездки несколько раз предлагал мне от имени армии обратиться к царю с просьбой возложить на себя орден Георгия 4-й степени в память того, что он находился в районе артиллерийского обстрела. Я ответил Иванову, что лично для себя не нахожу удобным обратиться к государю с этой просьбой, что он тут старший и наш главный начальник и потому, если он находит это нужным и своевременным, то может и сам просить царя об этом. Однако для себя он нашел это тоже неудобным и ввиду моего категорического отказа пожелал возложить это поручение на командира 39-го корпуса генерала Стельницкого. Но Стельницкий куда-то исчез, и его найти не могли. Так желание главнокомандующего преподнести царю георгиевский крест в данный момент исполнено не было.

Все-таки вслед за этим главнокомандующий собрал георгиевскую думу при штабе фронта под председательством генерала Каледина, и, по его предложению, дума присудила царю этот почетный боевой орден. Иванов поручил состоявшему при нем другу детства Николаю II, свиты его величества генерал-майору князю Барятинскому, отвезти протокол думы в Ставку, где князь Барятинский, стоя на коленях, представил Верховному главнокомандующему постановление думы и самый крест и передал просьбу Иванова принять и возложить на себя этот орден по просьбе всех войск Юго-Западного фронта. Государь согласился на эту просьбу и принял крест, который тут же надел. Впоследствии мне говорили в Ставке, что другие главнокомандующие, в особенности великий князь Николай Николаевич, энергично протестовали против такого старательного действия Иванова, считая, что георгиевская дума ни в каком случае не могла присуждать крест царю, так как его отличия не подходили под георгиевский статут. Крест мог быть поднесен без обсуждения совершенных отличий единогласной просьбой всех главнокомандующих, но дело было уже сделано. Объяснялось такое желание Иванова заслужить отдельное благоволение царя тем, что, как рассказывали, фонды Иванова стояли очень низко и якобы генерал Алексеев сильно настаивал на необходимости смены Иванова. Этим поступком Иванов будто бы на некоторое время укрепил свое положение.

Ярко сохранились у меня в памяти несколько дней зимних праздников 1915/16 года. В то время на фронте было затишье. Хотя неприятель обстреливал нас ежедневно и мы отвечали ему тем же, но больших боев не было, и, воспользовавшись этим, к нам в штаб приезжало много гостей.

Как кинематографическая лента, ежедневно менялись у меня перед глазами впечатления: то члены Государственной думы, хотевшие со мной побеседовать, то представители различных городов и организаций с подарками на фронт, то артисты, желавшие веселить и развлекать наших воинов, то дамы со всевозможными делами, толковыми и бестолковыми. В эту зиму их было особенно много: так как я впервые позволил моей жене приехать ко мне в Ровно, то не имел права и другим отказывать в этом. Первые 17 месяцев войны я не видел своей семьи и очень сердился, когда узнавал, какое множество дам приезжало во Львов и вообще в Галицию, пока мы были там. Но запретить это было не в моей власти.

Итак, на праздниках в тот год всевозможных впечатлений и суматохи было достаточно и в моем штабе.

Помню яркий, светлый день Крещения. Мы все после службы вышли из собора, чтобы присутствовать на молебне с водосвятием и традиционным крещенским парадом. Народу собралось множество — весь мой штаб, войска, горожане, представители администрации, лазаретов, госпиталей, наши приезжие гости.

В самом начале молебна я услышал знакомый шум в воздухе и, подняв глаза, увидел в ярко-синем небе совсем низко над собором два

вражеских самолетов. Быстро оглядев всех близ меня стоявших, я с радостью убедился, что все достойно и спокойно продолжают молиться, нисколько не выражая тревоги. Торжественное пение хора несло ввысь навстречу врагу. Вдруг раздался сильный взрыв и треск упавшей бомбы. Было очевидно, что она попала в крышу одного из ближайших домов.

Молебен продолжался. Я с гордостью взглянул на группу сестер милосердия: ни одна из них не дрогнула, никакой сумятицы не произошло, все женщины и молодые девушки стояли по-прежнему спокойно. Но к ужасу своему, я вдруг заметил, что не только голос главного священника дрожит, но губы его посинели, и он, бледный как полотно, не может продолжать службу. Крест дрожит в его руке, и он чуть не падает. Спасли положение второй священник, дьякон и певчие, заглушившие этот позор перед всеми стоявшими несколько дальше. Молебен благополучно окончился. Вражеские самолеты сбросили еще несколько бомб, но они попали уже в болото за городом. Наша артиллерия быстро их обстреляла и выводила.

После парада мне доложили, что бомба разрушила верхний этаж одного из больших домов, убила и искалечила несколько жильцов, что все необходимые меры помощи приняты, пожар потушен. Я вытребовав к себе перетрусившего священнослужителя, пробрал его и пристыдил изрядно, обещая выслать его вон, если он не умеет держать себя достойно своему сану. Я сказал ему, что и во время прежних войн и во время нашей последней я видел и слышал о бесконечных героических подвигах духовенства, но что такой срамоты, какой он меня угостил сегодня, ни разу мне не доводилось быть свидетелем.

Тут мне хочется сказать несколько слов о сестрах милосердия. В этот день группа их представительниц порадовала меня своим спокойствием и присутствием духа во время падения бомбы. А теперь я невольно вспомнил о том, как много наветов и грязных рассказов ходило во время войны о сестрах вообще и как это меня всегда возмущало. Спору нет, были всякие между ними, но я считаю своим долгом перед лицом истории засвидетельствовать, что громадное большинство из них героически, самоотверженно, неустанно работало, и никакие вражеские бомбы не могли их оторвать от тяжелой, душу раздирающей работы их над окровавленными страдальцами — нашими воинами. Да и сколько из них самих было перекалечено и убито...

В тот крещенский, богатый впечатлениями день ко мне приехал генерал Никулин, старый знакомый моей жены по Одессе. Он пригласил нас всех приехать в его дивизию на праздник-маскарад, который устраивали солдаты. Я охотно согласился, и мы поехали по направлению к Клевани, поближе к передовым позициям.

Удивительно, на что только наш солдат не способен, чего он только самодельно, с большим искусством не наладит!

На большой поляне перед лесом, в котором были расположены землянки этой дивизии, нас поместили как зрителей удивительного зрелища: солдаты, наряженные всевозможными народностями, зверями, в процессиях, хороводах и балаганах задали нам целый ряд спектаклей, танцев, состязаний, фокусов, хорового пения, игры на балалайках. Смеху и веселья было очень много. И вся эта музыка, шум и гам прерывались раскатами вражеской артиллерийской пальбы, которая здесь была значительно слышней, чем в штабе. А среди солдат и офицеров царил такое беззаботное веселье, что любо-дорого было смотреть.

Вскоре после этого многие из провожавших нас с этого веселого праздника были убиты, и первый из них — энергичный и любимый солдатами генерал Никулин. А в ту лунную красивую ночь, когда наконец после чая в землянке гостеприимные хозяева нас отпустили домой, никто из них не думал о смерти, несмотря на близость неприятеля.

В этом празднике принимали участие и внесли много оживления чехи из чешской дружины. Эта дружина имеет свою маленькую историю. Почему-то Ставка не хотела ее организовать и опасалась измены со стороны пленных чехов. Но я настоял, и впоследствии оказалось, что я был прав. Они великолепно сражались у меня на фронте. Во все время они держали себя молодцами. Я посылал эту дружину в самые опасные и трудные места, и они всегда блестяще выполняли возлагавшиеся на них задачи.

Положение, в котором находилась моя армия, в особенности правый фланг ее, мне не нравилось. Я считал, что необходимо стараться откинуть противника к западу, с тем чтобы укрепиться на Стыри от Торговицы — Луцка к северу и далее на Стоход, всемерно стараясь захватить Ковель. Для выполнения этого намерения у меня не было достаточно сил; с другой стороны, ко всяким наступательным операциям главнокомандующий продолжал относиться скептически и думал главным образом лишь о том, чтобы не пустить врага дальше к востоку и предохранить от нашествия Киев. В это-то время его распоряжением начали воздвигаться полосы укрепленных позиций, в несколько сотен верст длины каждая, и было построено несколько мостов через Днепр. Стоимость этих сооружений была колоссальная, но для защиты края они негодились, так как мы противника дальше не пустили.

Насколько Иванов не верил больше в стойкость войск, можно видеть из того, что укрепленные полосы стали строиться не от неприятеля в глубь страны, а обратно — от самого Киева по направлению к противнику. Когда впоследствии я был назначен главнокомандующим этим фронтом, то оказалось, что вблизи противника никаких укреплений не было, а таковые были воздвигнуты внутри страны, далеко от линии фронта. Вообще, Иванов поставил себе целью предохранить юго-западный край от нашествия противника, но, очевидно, не особенно верил в возможность выполнить это благое намерение. Что же касается не только выигрыша войны, но даже остановки наступления врага — в это он не верил. И в этом ничего мудреного нет, так как ни он, ни войска его совершенно не знали. За все время его главнокомандования он только один раз посетил армии, причем посещение это заключалось в том, что он в двух-трех местах видел резервы, с которыми довольно-таки бестолково поговорил и уехал. Мою армию он посетил в то время, когда я стоял на Буге; утром приехал к штабу, видел в совокупности около четырех батальонов и вечером уехал. Понятно, что при таких условиях он пульса жизни армии не чувствовал и не знал, а вместе с тем по натуре был очень недоверчив и самонадеянно думал, что он все знает лучше всех.

Пользуясь той задачей, которую он на себя возложил, я выпросил у него еще дивизию, 2-ю стрелковую, чтобы усилить мой правый фланг, тем более что фронт 8-й армии, с протяжением его до Кухоцкой Воли, оказался страшно растянутым. Из 2-й и 4-й стрелковых дивизий был сформирован новый, 40-й корпус, который по составу своих войск был, несомненно, одним из лучших во всей русской армии; этим-то корпусом, его соседом 30-м корпусом и конницей я решил нанести короткий удар правым флангом в расчете отбросить немцев от Чарторийска и захватить Колки, дабы сократить фронт и поставить врага в худшие жизненные условия в течение зимних месяцев. На 4-ю стрелковую дивизию возложена была самая тяжелая задача — взять Чарторийск и разбить 14-ю германскую пехотную дивизию.

Подготовка к указанной мною операции велась весьма тайно, и можно сказать, что элемент внезапности был сохранен в полной мере. Немцы, стоявшие на левом берегу Стиры, от Рафаловки до Чарторийска, были разбиты наголову, захвачено было много пленных, между прочим — почти целиком полк кронпринца германского и германская гаубичная батарея. Неприятель в большом замешательстве был отброшен к западу. Но Колки, невзирая на все усилия, взять не удалось, потому что два соседа, корпусные командиры, сговориться не сумели и только кивали один на другого и друг на друга жаловались. Виновного в нерешительности командира 40-го корпуса пришлось сместить, но время было уже упущено, немцы успели прислать серьезную поддержку своим разбитым частям, и пришлось удовлетвориться тем успехом, который мы одержали.

За эту зиму пришлось мне много повозиться с партизанскими отрядами. Иванов, в подражание войне 1812 года, распорядился сформировать от каждой кавалерийской и казачьей дивизии всех армий фронта по партизанскому отряду, причем непосредственное над ними начальство он оставил за собой. Направил он их всех ко мне в армию с приказанием снабдить их всем нужным и двинуть затем на северо-запад в Полесье, дав им там полный простор для действий. Это и было исполнено. Хозяйственной части армии от всей этой истории пришлось тяжело от непомерного увеличения работы по снабжению партизанских отрядов вещами и деньгами. С самого начала возникли в тылу фронта крупные недоразумения с этими партизанами. Выходили бесконечные недоразумения с нашими русскими жителями, причем, признавая только лично главнокомандующего, партизаны эти производили массу буйств, грабежей и имели очень малую склонность вторгаться в область неприятельского расположения. В последнем отношении я их вполне оправдывал, ибо в Пинских болотах производить кавалерийские набеги было, безусловно, невозможно, и они, даже если бы и хотели вести конные бои, ни в коем случае не могли этого исполнить. Единственная возможность производить набеги, и то с большими затруднениями, — это делать их пешком, взяв провожатого из местных жителей. При таких условиях в болотах, местами бездонных, можно было пробираться по тропинкам в тыл противника, но держаться там долго нельзя было, так как партизаны там уничтожались немцами. Соседняя со мной 3-я армия, входившая в состав Западного фронта, несколько раз жаловалась мне на безобразия, которые партизаны творили у нее в тылу, о чем я немедленно доносил главнокомандующему на распоряжение. Однако и Иванов с ними ничего поделать не мог, ибо, наблудив в одном каком-нибудь месте, они перескакивали в другое и, понятно, адреса своего не оставляли. Единственное хорошее дело, которое за всю зиму они совершили, был наскок на Нобель, насколько мне помнится. Три команды партизан, соединившись вместе и оставив своих лошадей дома, пешком пробрались сквозь болота ночью и перед рассветом напали на штаб германской пехотной дивизии, причем захватили и увели с собой в плен начальника дивизии с несколькими офицерами. Этот злосчастный начальник дивизии, находясь в плену, сделал вид, что хочет бриться, и бритвой перерезал себе горло.

Думаю, что если уже признано было нужным учреждать партизанские отряды, то следовало их формировать из пехоты, и тогда, по всей вероятности, их сделали бы несколько больше. Правду сказать, я не мог никак понять, почему пример 1812 года заставлял нас устраивать партизанские отряды, по возможности придерживаясь шаблона того времени: ведь обстановка была совершенно другая, неприятельский фронт был сплошной и действовать на сообщения, как в 1812 году, не было никакой возможности. Казалось бы, нетрудно сообразить, что при позиционной войне миллионных армий действовать так, как сто лет назад, не имело никакого смысла. В конце концов весной партизаны были расформированы, не принеся никакой пользы, а стоили они громадных денег, и пришлось некоторых из них, поскольку мне помнится, по суду расстрелять, других сослать в каторжные работы за грабеж мирных жителей и за изнасилование женщин. К сожалению, этими злосчастными партизанами увлекся не один наш главнокомандующий. Вновь назначенный походный атаман великий князь Борис Владимирович последовал тому же примеру: по его распоряжению во всех казачьих частях всех фронтов были сформированы партизаны, которые, как и на нашем фронте, болтались в тылу наших войск и за неимением дела производили беспорядки и наносили обиды ни в чем не повинным жителям, русским подданным. Попасть же в тыл противника при сплошных окопах от моря и до моря и думать нельзя было. Удивительно, как здравый смысл часто отсутствует у многих казалось бы умных людей.

В течение зимы 1915/16 года, стоя все время на одних и тех же позициях, мы их постепенно совершенствовали, и они стали приобретать тот вид, который при современной позиционной войне дает большую устойчивость войскам: каждая укрепленная полоса имела от трех до четырех линий окопов полного профиля и с многочисленными ходами сообщений. Строили также пулеметные гнезда и убежища, но не пользовались для этой цели, как германцы и австрийцы, железобетоном, а строили убежища, зарываясь глубоко в землю и прикрываясь сверху несколькими рядами бревен с расчетом, чтобы такой потолок мог выдержать 6-дюймовый снаряд. Убежища, вообще, подвигались туго, их было очень мало, и, правду сказать, я не особенно наседали на их развитие, так как они представляли собой не только прикрытие от артиллерийского огня, но и ловушки: спрятанный в убежище гарнизон данного участка, в случае проникновения противника в окопы, почти неизбежно целиком попадал в плен. Нужно признать, что австрийцы и немцы укреплялись лучше нас, более основательно, и у них в окопах было гораздо удобнее жить, нежели в наших. Помимо довольно широкого применения железобетонных сооружений у них во многих местах было проведено электричество, устроены садики и блиндированные помещения для офицеров и для солдат. Я совершенно не гнался за этими усовершенствованиями, но старался обставить жизнь людей возможно более гигиенично, чтобы они были хорошо одеты, по сезону, и хорошо кормлены, чтобы было возможно больше бань.

В отношении бань Всероссийский земский союз оказал нам прямо-таки неизмеримую пользу. Ни от каких задач союз этот не отказывался, и его деятели вкладывали в полном смысле этого слова душу свою в то, чтобы возможно быстрее и основательнее выполнять то или другое задание. И Союз городов принес большую пользу, но, по крайней мере, у меня в 8-й армии земский союз был более деятелен, и считаю долгом сосвидетельствовать, что благодаря его работе никогда никакие инфекционные болезни не принимали обширных размеров: при появлении какой-либо заразной болезни мы быстро справлялись с инфекцией, и войска от болезней страдали мало, в особенности по сравнению с санитарным состоянием войск в прежних войнах.

В течение этой зимы мы усердно обучали войска и из необученных делали хороших боевых солдат, подготавливая их к наступательным операциям в 1916 году. Постепенно и техническая часть поправлялась в том смысле, что стали к нам прибывать винтовки, правда различных систем, но с достаточным количеством патронов; артиллерийские снаряды, по преимуществу легкой артиллерии, стали также отпускаться в большом количестве; прибавили число пулеметов и сформировали в каждой части так называемых grenадер, которых вооружили ручными гранатами и бомбами.

Войска повеселели и стали говорить, что при таких условиях воевать можно и есть полная надежда победить врага. Лишь воздушный флот, по сравнению с неприятельским, был чрезмерно слаб. Между тем, помимо воздушной разведки и снятия фотографий неприятельских укреплений самолеты имели еще незаменимое значение при корректировании стрельбы тяжелой артиллерии. Много раз

обещали увеличить число самолетов, но так это одним обещанием и осталось. Не было у нас также и танков, и поэтому я очень обрадовался, когда было сообщено, что таковые будут присланы из Франции; но и это обещание до конца моей работы на фронте выполнено не было. К ранней весне в каждой пехотной дивизии было от 18 до 20 тысяч человек, вполне обученных, и от 15 до 18 тысяч винтовок в полном порядке и с избытком патронов. Износившиеся орудия были заменены новыми, и мы могли жаловаться только на то, что тяжелой артиллерии у нас было еще далеко недостаточно, хотя и ее несколько прибавилось. По состоянию духа войск вверенной мне армии и, как я скоро убедился, других армий Юго-Западного фронта мы находились, по моему убеждению, в блестящем состоянии и имели полное право рассчитывать сломить врага и вышвырнуть его вон из наших пределов.

Мы все были страшно огорчены, когда в декабре 1915 года было произведено чрезвычайно неудачное наступление 7-й армии. Она сначала была перевезена к Одессе, для того чтобы быть направленной в Болгарию, которая объявила нам войну. Новый командующий этой армией генерал Щербачев, как он мне сам впоследствии рассказывал, отговорил Николая II отправлять эту армию в Болгарию, полагая, что у нее там нет никаких шансов на успех и что было бы лучше быстро перебросить ее на Юго-Западный фронт, чтобы прорвать расположение противника и, присоединяя к этому прорыву общее наступление всех войск фронта, отбросить австро-германцев возможно далее к западу. С этим предложением царь согласился.

Д. Г. Щербачев

До меня доходили довольно верные сведения из штаба фронта, что генерал Иванов был расстроен этой новой наступательной операцией и вперед решил, что она никаких благих результатов дать не может. Действительно, эта операция была так скомбинирована штабом фронта, что успеха иметь не могла. Останавливаться на ней я не буду, так как она меня не касалась. Скажу лишь вкратце, что армии Щербачева, которая должна была представлять собой ударную группу, был отведен слишком широкий фронт и потому у нее резервов оказалось недостаточно, а два гвардейских корпуса, резерв главнокомандующего, Щербачеву не были переданы. Таким образом, Щербачеву пришлось наносить удар не кулаком, а растопыренными пальцами. Кроме того, слепо следуя германскому примеру прорыва нашей 3-й армии весной того же 1915 года, штаб фронта распорядился, чтобы все остальные армии стояли на месте, отнюдь не предпринимали каких-либо наступательных операций до полной победы 7-й армии и только вели демонстрации артиллерией и поисками разведчиков. При условии, что артиллерийские снаряды следовало беречь, а устраивать разведчикам какие-либо особые поиски было нельзя, так как мы стояли почти по всему фронту с противником нос к носу, очевидно, что о сильных демонстрациях и разговаривать нечего было и надуть противника было совершенно невозможно. Ведь это — азбучная истина, что демонстрация только тогда достигает своей цели, когда она ведется решительно и когда войска сами не знают, что это демонстрация, а не настоящая атака.

Подобная чепуха меня сильно возмущала, и я просил разрешения главнокомандующего усилить свою ударную группу своими собственными средствами и войсками и устроить такую демонстрацию, которая притянула бы к себе все неприятельские резервы, стоявшие против моей армии. На это мое предложение я получил резкий и безапелляционный отказ. Поэтому я не был удивлен, когда во время боевых действий 7-й армии моя воздушная разведка мне донесла, что резервы противника потянулись на запад; понятно — против 7-й армии; мы же, находясь в полной боевой готовности, высылали команды разведчиков, которые по ночам бесцельно болтались между нашими проволочными заграждениями и проволочными заграждениями противника. В результате наступление 7-й армии, как это и было неизбежно, потерпело полное крушение. Армия понесла громадные потери и успеха никакого не имела. В штабе фронта все, с Ивановым и Саввичем во главе, отчаянно ругали и проклинали Щербачева и считали его виновником неудачи, но и Щербачев в этом отношении не отставал от них и с лихвой возвращал им их обвинения. Будучи непричастным к этому печальному делу, я по всей справедливости считаю, что главным виновником неудачи был, несомненно, сам Иванов с его штабом, а не Щербачев.

Я был уведомлен о предположениях Ставки поручить главную наступательную операцию летом 1916 года Западному фронту, которую ближайшим образом должны поддержать армии Северо-Западного фронта, и о том, что армии нашего фронта обречены на бездействие, пока те фронты не обозначат явного успеха и не продвинутся вперед. Но, на всякий случай, в своей 8-й армии я усердно готовил наступление, выбрав соответствующий главный ударный участок направлением на Луцк и два вспомогательных ударных участка, перегруппировывая свои войска.

Глава 8

Назначение мое главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта

Совершенно неожиданно в половине марта 1916 года я получил шифрованную телеграмму из Ставки от генерала Алексеева, в которой значилось, что Верховным главнокомандующим я избран на должность главнокомандующего Юго-Западным фронтом взамен Иванова, который назначается состоять при особе царя, посему мне надлежит немедленно принять эту должность, так как 25 марта царь прибудет в Каменец-Подольск для осмотра 9-й армии, стоявшей на левом фланге фронта. Я ответил, что приказание выполняю и испрашиваю назначить вместо меня командующим 8-й армией начальника штаба фронта генерала Клембовского.

На это я получил ответ, что государь его не знает и что хотя он меня не стесняет в выборе командующего армией, но со своей стороны считает нужным усиленно рекомендовать генерала Каледина, — государь был бы доволен, если бы я остановился на этом лице. Я имел раньше случай сказать, что генерала Каледина я считал выдающимся начальником дивизии, но как командир корпуса он выказал себя значительно хуже; тем не менее, поскольку я ничего против него не имел, поскольку за все время кампании он вел себя отлично и заслужил два георгиевских креста и георгиевское оружие, был тяжело ранен и, еще не вполне оправившись, вернулся в строй, у меня не было достаточных оснований, чтобы отклонить это высочайшее предложение, забраковать опытного и храброго генерала лишь потому, что, по моим соображениям и внутреннему чувству, я считал его слишком вялым и нерешительным для занятия должности командующего армией. Впоследствии я сожалел, что в данном случае уступил, так как на боевом опыте оказалось, что я был прав и что Каледин, при всех своих достоинствах, не соответствовал должности командующего армией.

М. К. Дитерихс

В. А. Сухомлинов в 1912 году

Я протелеграфировал Иванову, испрашивая у него указания, когда ему будет угодно, чтобы я прибыл для принятия его должности. Он мне ответил, что это зависит от меня, но генерал-квартирмейстер штаба фронта Дитерихс вызвал моего начальника штаба Сухомлина и передал ему, что Иванов очень стесняется быстро уезжать, что мое скорое прибытие в Бердичев будет для него весьма неудобным, так как ему нужно закончить разные дела, и что было бы с моей стороны хорошо, если бы я отсрочил свое прибытие, тем более что Иванов получил извещение министерства двора, в котором значится, что ему пока не следует уезжать из Бердичева. Этим сообщением я был поставлен в крайне неловкое положение: с одной стороны, Алексеев именем государя требует, чтобы я ехал возможно скорее принимать должность главнокомандующего; с другой же стороны, неофициально передается по прямому проводу, что именем государя министр двора предлагает Иванову оставаться на месте. Так как я решительно ничего не домогался, никаких повышений не искал, ни разу из своей армии никуда не уезжал, в Ставке ни разу не был и ни с какими особыми лицами о себе не говорил, то лично для меня в сущности было решительно все равно, принимать ли новую должность или остаться на старой. Но так как в телеграмме Алексеева было сказано, что царь прибудет в Каменец-Подольск 25 марта и мне приказано там его встретить, а времени оставалось очень мало, чтобы ознакомиться с фронтом, то я телеграммой изложил все вышесказанное Алексееву, спрашивая, что мне делать. Я получил ответ, что если я не могу сейчас ехать в штаб фронта, то чтобы я хотя вытребовал к себе начальника штаба или генерал-квартирмейстера штаба фронта, дабы ознакомиться хоть несколько с положением дел.

Помимо четырех армий, главнокомандующему фронтом непосредственно и во всех отношениях подчинялись еще округа Киевский и Одесский, всего же двенадцать губерний, не исключая их гражданской части. Не желая отрывать начальника штаба фронта от дела, я вытребовал к себе генерал-квартирмейстера Дитерихса, человека очень способного и отлично знающего свое дело. Он мне сделал подробный доклад, вполне меня удовлетворивший, и я ему сообщил о недоразумении, которое, по необъяснимым для меня причинам, неожиданно явилось между мной и генералом Ивановым. Я просил его доложить Иванову, что я, бывший его подчиненный, не считаю себя вправе покидать армию без его приказа, так как, пока он не сдал должности главнокомандующего, он и поныне состоит моим прямым начальником, и что без его распоряжения я в Бердичев не поеду и предупреждаю, что, не приняв на законном основании должности главнокомандующего, я в Каменец-Подольск тоже не поеду. Это мое заявление повергло Иванова, по-видимому, в большое смущение, и он мне протелеграфировал, что он меня уже давно ждет и совсем не понимает, почему я до сих пор не приехал. Тогда я сдал должность командующему армией генералу Каледину, которого заранее вытребовал в Ровно, и отправился к новому месту служения.

Генерал Клембовский

Прибыл я в Бердичев экстренным поездом 23 марта и был встречен там начальником штаба Клембовским и главным начальником снабжения фронта Мавриным.

Я сейчас же спросил у первого из них, когда и где я могу представиться генералу Иванову. Он мне ответил, что Иванов живет теперь в поезде главнокомандующего в своем вагоне и меня просит пожаловать к нему в 8 часов вечера. На мой вопрос, как обстоят дела на фронте армий, Клембовский мне доложил, что все обстоит благополучно и кроме обыденной перестрелки на фронте ничего не происходит, но получено известие, что командующий 9-й армией генерал Лечицкий опасно заболел воспалением легких и требуется назначить ему временного заместителя. Я указал из числа корпусных командиров 9-й армии на генерала Крымова, который, по моему мнению, наиболее соответствовал этому назначению; хотя он и не был старшим корпусным командиром, но я считал, что при назначениях на такие должности старшинство никакого значения не имеет. Я приказал поставить мой вагон рядом с вагоном Иванова, а сам поехал осмотреть мою квартиру и сделать визиты генералам Клембовскому и Маврину.

Вечером отправился я к Иванову, которого застал в полном отчаянии: он расплакался навзрыд и говорил, что никак не может понять, почему он смещен; я также не мог ему разъяснить этот вопрос, так как решительно ничего не знал. Про дела на фронте мы говорили мало; он мне только сказал, что, по его мнению, никаких наступательных операций мы делать не в состоянии и что единственная цель, которую мы можем себе поставить, это предохранить юго-западный край от дальнейшего нашествия противника. В этом я с ним в корне расходился, что и высказал ему, но его мнения упорно не критиковал, находя это излишним; в дальнейшем не он, а уже я имел власть решать образ действий войск Юго-Западного фронта, а потому я нашел излишним огорчать и без того морально расстроенного человека.

Засим мы пошли ужинать в вагон-столовую, где собрались состоявшие при Иванове лица, которые мне тут же представились. До меня уже доходили сведения, что они полагали, будто я их немедленно разгоню, поэтому я им объявил, что они все остаются на своих местах и я решительно никаких перемен делать пока не предполагаю. Ужин был очень печальный, все сидели как опущенные в воду, глядя на Иванова, который не мог удерживать своих слез. Он меня тут же спросил, может ли он еще несколько дней оставаться в штабе фронта; я ему ответил, что это только от него зависит, но что я должен вступить теперь же в исполнение моих обязанностей. В следующие два дня я познакомился с моими новыми сослуживцами по штабу фронта и управления при главном начальнике снабжения фронта, вошел в курс дела и затем уехал в Каменец-Подольск, чтобы попутно, перед встречей там царя, ознакомиться с положением дел 9-й армии и посетить какой-либо боевой участок фронта. Прибыв в Каменец-Подольск, я посетил генерала Лечицкого в разгаре его болезни, принял доклад его начальника штаба и поехал на следующий день на боевой участок 74-й пехотной дивизии. Эта дивизия была сформирована в Петербурге по преимуществу из швейцаров и дворников и осенью 1914 года в 3-й армии показала весьма плохие боевые свойства, причем Радко-Дмитриев принужден был сместить начальника дивизии и назначить нового. Мне интересно было посмотреть, какой вид имеет эта дивизия в настоящее время. Обошел я ее окопы, осмотрел части, находившиеся в резерве, и остался очень доволен ее состоянием.

Граф Фредерикс на костюмированном балу 1903 г.

На следующий день в Каменец-Подольске я встретил вечером царя, который, обойдя почетный караул, пригласил меня к себе в вагон и спросил, какое у меня вышло столкновение с Ивановым и какие разногласия выяснились в распоряжениях генерала Алексеева и графа Фредерикса по поводу смены генерала Иванова. Я ответил, что у меня лично никаких столкновений и недоразумений с Ивановым нет и не было, а в чем заключается разногласие между распоряжениями генерала Алексеева и графа Фредерикса — мне неизвестно, так как я получил распоряжения только от генерала Алексеева, а от графа Фредерикса никаких сообщений или приказаний не получал, и мне кажется, что дела военного ведомства, тем более на фронте, графа Фредерикса не касаются. Затем царь спросил меня, имею ли я что-

либо ему доложить. Я ему ответил, что имею доклад, и весьма серьезный, заключающийся в следующем: в штабе фронта я узнал, что мой предшественник категорически донес в Ставку, что войска Юго-Западного фронта не в состоянии наступать, а могут только обороняться. Я лично не согласен с этим мнением; напротив, я твердо убежден, что ныне вверенные мне армии после нескольких месяцев отдыха и подготовительной работы находятся во всех отношениях в отличном состоянии, обладают высоким боевым духом и к 1 мая будут готовы к наступлению, а потому я настоятельно прошу предоставления мне инициативы действий, конечно согласованно с остальными фронтами. Если же мнение, что Юго-Западный фронт не в состоянии наступать, превозможет и мое мнение не будет уважено, как главного ответственного лица в этом деле, то в таком случае мое пребывание на посту главнокомандующего не только бесполезно, но и вредно, и в этом случае прошу меня сменить.

Государя несколько передернуло, вероятно, вследствие столь резкого и категорического моего заявления, тогда как по свойству его характера он был более склонен к положениям нерешительным и неопределенным.

Никогда он не любил ставить точек над і и тем более не любил, чтобы ему преподносили заявления такого характера. Тем не менее он никакого неудовольствия не высказал, а предложил лишь повторить мое заявление на военном совете, который должен был состояться 1 апреля, причем сказал, что он ничего не имеет ни за, ни против и чтобы я на совете сговорился с его начальником штаба и другими главнокомандующими.

Не успел я выйти из вагона государя, как ко мне подошел камер-лакей с приглашением идти к министру двора, который желает меня видеть. Граф Фредерикс обнял меня, поцеловал, хотя я с ним никогда близок не был, и поздравил с новым назначением. Усадив меня, он начал меня уверять, что против меня решительно ничего не имеет, никакой интриги по поводу моего назначения не знает и что его телеграмма генерал-адъютанту Иванову совершенно не касалась его смены и моего назначения, до которых ему дела нет. Он заверял меня, что чрезвычайно обрадовался, что выбор пал на меня, так как было несколько кандидатов, и он будет стараться меня поддерживать; если же мне понадобится что-либо секретно доводить до сведения государя, то он вообще всегда будет к моим услугам. Я ему ответил, что за все ласковые слова я сердечно благодарю, но что по принципу, которым руководствовался всю свою жизнь, я никогда ничего не искал и лично для себя ничего не добивался, что буду исполнять свой долг так же, как и раньше, от всей души, но просить чего-либо ни в каком случае не буду. На этом наша беседа и закончилась; мы еще раз обнялись, и я ушел к себе в вагон. Так я, в сущности, и не узнал, какая интрига велась против моего назначения и кто ее вел.

На другое утро царь поехал осматривать недавно сформированную 3-ю Заамурскую пехотную дивизию и нашел ее в прекрасном состоянии. Как и в предыдущие разы, воодушевления у войск никакого не было. Ни фигурой, ни умением говорить царь не трогал солдатской души и не производил того впечатления, которое необходимо, чтобы поднять дух и сильно привлечь к себе сердца. Он делал, что мог, и обвинять его в данном случае никак нельзя, но благих результатов в смысле воодушевления он вызывать не мог. После осмотра этой дивизии мы направились дальше, ближе к противнику, и там состоялся смотр всего 11-го армейского корпуса, который находился в резерве. Смотр был произведен обычным порядком, ничего достопримечательного не произошло, за исключением разве того, что во время смотра был налет неприятельских самолетов, который им не удался, так как в предвидении их посещения, которое могло повести за собой большие жертвы при метании бомб в собранный вместе целый корпус, было размещено несколько зенитных батарей и наша флотилия самолетов. Когда неприятельские аппараты показались, наши зенитные батареи начали их усердно обстреливать и отогнали их.

В общем, имея в виду близость неприятельского фронта от Каменец-Подольска, частые налеты самолетов противника на Каменец-Подольск и невозможность полного обеспечения царского поезда от бросаемых ими бомб, я старался уговорить царя сократить свое пребывание в Каменец-Подольске, в чем меня поддержал и граф Фредерикс, но царь ни за что не соглашался изменить свой маршрут и уехал лишь после двухсуточного пребывания. В тот же вечер, часа два спустя после отхода императорского поезда, и я отправился прямо в Могилев на военный совет, который должен был состояться 1 апреля. Мой начальник штаба генерал Клембовский соединился со мной для этой поездки в Казатине, и мы безостановочно проехали в Могилев, куда и прибыли 1 апреля утром.

Генерал А. Н. Куропаткин

На военном совете под председательством самого императора присутствовали: главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал-адъютант Куропаткин со своим начальником штаба Сиверсом, главнокомандующий Западным фронтом Эверт, также со своим начальником штаба, я с генералом Клембовским, Иванов, военный министр Шуваев, полевой генерал-инспектор артиллерии великий князь Сергей Михайлович и начальник штаба Верховного главнокомандующего Алексеев.

Главный вопрос, который нужно было решить на этом совещании, состоял в выработке программы боевых действий на 1916 год. Генерал Алексеев доложил совещанию, что предрешено передать всю резервную тяжелую артиллерию и весь общий резерв, находящийся в распоряжении Верховного главнокомандующего, Западному фронту, который должен нанести свой главный удар в направлении на Вильно; некоторую часть тяжелой артиллерии и войск общего резерва предполагается передать Северо-Западному фронту, который своей ударной группой также должен наступать с северо-востока на Вильно, помогая этим выполнению задачи Западного фронта; что касается вверенного мне Юго-Западного фронта, то, как уже было признано, этот фронт к наступлению не способен, он должен держаться строго оборонительно и перейти в наступление лишь тогда, когда оба его северных соседа твердо обозначат свой успех и достаточно выдвинутся к западу. Затем слово было предоставлено генералу Куропаткину, который заявил, что на успех его фронта рассчитывать очень трудно и что, по его мнению, как это видно из предыдущих неудачных попыток к наступлению, прорыв фронта немцев совершенно невероятен, ибо их укрепленные полосы настолько развиты и сильно укреплены, что трудно предположить удачу; скорее, нужно полагать, мы понесем громадные безрезультатные потери. С этим Алексеев не соглашался. Однако он заявил, что, к сожалению, у нас не хватает в достаточном количестве тяжелых снарядов. На это военный министр заявил, а полевой генерал-инспектор добавил, что в данное время легкие снаряды они могут получить в громадном количестве, но что касается тяжелых, то отечественная военная промышленность их пока дать не может, из-за границы получить нам их также очень трудно, и определить время, когда улучшится дело снабжения тяжелыми снарядами, они не могут, во всяком случае — не этим летом. Затем было предоставлено слово Эверту. Он в свою очередь сказал, что всецело присоединяется к мнению Куропаткина, в успех не верит и полагает, что лучше было бы продолжать держаться оборонительного образа действий до тех пор, пока мы не будем обладать тяжелой

артиллерией, по крайней мере в том же размере, как наш противник, и не будем получать тяжелых снарядов в изобилии.

После этого слово было предоставлено мне. Я заявил, что, несомненно, желательно иметь большее количество тяжелой артиллерии и тяжелых снарядов, необходимо также увеличить количество воздушных аппаратов, выключив устаревшие, износившиеся. Но и при настоящем положении дел в нашей армии я твердо убежден: мы можем наступать. Не берусь говорить о других фронтах, ибо их не знаю, но Юго-Западный фронт, по моему убеждению, не только может, но и должен наступать, и полагаю, что у нас есть все шансы для успеха, в котором я лично убежден. На этом основании я не вижу причин стоять мне на месте и смотреть, как мои товарищи будут драться. Я считаю, что недостаток, которым мы страдали до сих пор, заключается в том, что мы не наваливаемся на врага сразу всеми фронтами, дабы лишить противника возможности пользоваться выгодами действий по внутренним операционным линиям, и потому, будучи значительно слабее нас количеством войск, он, пользуясь своей развитой сетью железных дорог, перебрасывает свои войска в то или иное место по желанию. В результате всегда оказывается, что на участке, который атакуется, он в назначенное время всегда сильнее нас и в техническом и в количественном отношении. Поэтому я настоятельно прошу разрешения и моим фронтом наступательно действовать одновременно с моими соседями; если бы, паче чаяния, я даже и не имел никакого успеха, то по меньшей мере не только задержал бы войска противника, но и привлек бы часть его резервов на себя и этим существенным образом облегчил бы задачу Эверта и Куропаткина.

На это генерал Алексеев мне ответил, что в принципе у него никаких возражений нет, но он считает долгом предупредить, что я ничего не получу вдобавок к имеющимся у меня войскам: ни артиллерии, ни большего числа снарядов, чем по сделанной им разверстке мне причитается. На это я в свою очередь ему ответил, что я ничего и не прошу, никаких особых побед не обещаю, буду довольствоваться тем, что у меня есть, но войска Юго-Западного фронта будут знать вместе со мной, что мы работаем на общую пользу и облегчаем работу наших боевых товарищей, давая им возможность сломить врага. На это никаких возражений не последовало, но Куропаткин и Эверт после моей речи несколько видоизменили свои заявления и сказали, что они наступать могут, но с оговоркой, что ручаться за успех нельзя. Очевидно, что такого ручательства ни один военачальник никогда и нигде дать не мог, хотя бы он был тысячу раз Наполеон. Было условлено, что на всех фронтах мы должны быть готовы к половине мая. Остальные разбиравшиеся на военном совете вопросы были по преимуществу хозяйственные и в настоящее время утратили свой интерес, поэтому я о них упоминать не буду. Председательствующий Верховный главнокомандующий прениями не руководил, а обязанности эти исполнял Алексеев. Царь же все время сидел молча, не высказывал никаких мнений, а по предложению Алексеева своим авторитетом утверждал то, что решалось прениями военного совета и выводы, которые делал Алексеев.

Мы завтракали и обедали за высочайшим столом в промежутках между заседаниями. По окончании военного совета, когда мы направились к обеду, ко мне подошел один из заседавших старших генералов и выразил свое удивление, что я как бы напрашиваюсь на боевые действия; между прочим, он сказал: «Вы только что назначены главнокомандующим, и вам притом выпадает счастье в наступление не переходить, а следовательно, и не рисковать вашей боевой репутацией, которая теперь стоит высоко. Что вам за охота подвергаться крупным неприятностям, может быть, смене с должности и потере того военного ореола, который вам удалось заслужить до настоящего времени? Я бы на вашем месте всеми силами отрекся от каких бы то ни было наступательных операций, которые при настоящем положении дела могут вам лишь сломать шею, а личной пользы вам не принесут». На это я ответил этому генералу, что я о своей личной пользе не мечтаю и решительно ничего для себя не ищу, нисколько не обижусь, если меня за негодность отчислят, но считаю долгом совести и чести действовать на пользу России. По-видимому, этот генерал отошел от меня очень недовольный этим ответом, пожимая плечами и смотря на меня с сожалением.

В этот же вечер я уехал обратно в Бердичев. Тотчас по приезде я вытребовал всех командующих армиями с их начальниками штабов в Волочиск, как наиболее центральный для них пункт, чтобы сговориться относительно плана действий на это лето и отдать им нужные приказания. Вообще, в принципе я враг всяких военных советов и не для того собрал командующих армиями, чтобы спросить их мнения о возможности или плане военных действий, но считал весьма важным перед решающими событиями собирать своих ближайших сотрудников для того, чтобы лично изложить им мои решения и в случае каких-либо недоразумений разъяснить те пункты, которые им не ясны или различно понимаются. При таких условиях есть возможность соседям сговориться друг с другом и в дальнейшем избежать шероховатостей и споров, которые иначе неизбежны.

Собраны были мною на совещание: командующий 8-й армией Каледин, командующий 11-й армией Сахаров, командующий 7-й армией Щербачев и временный командующий 9-й армией Крымов, так как Лечицкий был еще болен. Я изложил им положение дела и мое решение — непременно в мае перейти в наступление. На это Щербачев доложил, что я его лично давно знаю и, наверное, не сомневаюсь в его стремлении неизменно действовать активно, но что в настоящее время он считает наступательные действия очень рискованными и нежелательными. На это я ему ответил, что я собрал командующих армиями не для того, чтобы решать вопрос об активном или пассивном образе действий армий фронта, а для того, чтобы лично отдать приказания о подготовке к атаке противника, которая бесповоротно мною решена. Необходимо, следовательно, в данном случае обсудить вопрос, какая роль выпадет на долю каждой из армий при предстоящем наступлении, и строго согласовать их действия. Я при этом предупредил, что никаких колебаний и отговорок ни от кого ни в каком случае принимать не буду.

Затем я изложил мой взгляд на порядок атаки противника, который расходился довольно крупно с тем порядком, который, по примеру немцев, считался к этому моменту войны исключительно пригодным для прорыва фронта противника в позиционной войне. До начала этой войны считалось аксиомой, что атаковать противника с фронта (в полевой войне) почти невозможно ввиду силы огня; во всяком случае, такие лобовые удары требовали больших жертв и должны были дать мало результатов; решения боя следовало искать на флангах, сковав войска противника на фронте огнем, резервы же сосредоточивать на одном или на обоих флангах, в зависимости от обстановки, для производства атаки, а в случае полной удачи — и окружения. Однако, когда полевая война вскоре перешла в позиционную и благодаря миллионным армиям вылилась в сплошной фронт от моря до моря, только что описанный образ действий оказался невозможным. И вот немцы под названием фаланги и разными другими наименованиями применили такой образ действий, при котором атака в лоб должна была иметь успех, так как флангов ни у одного из противников не было ввиду сплошного фронта. Собиралась огромная артиллерийская группа разных калибров, до 12-дюймовых включительно и сильные пехотные резервы, которые сосредоточивались на избранном для прорыва противника боевом участке. Подготовка такой атаки должна была начинаться сильнейшим артиллерийским огнем, который должен был смести проволочные заграждения и уничтожить неприятельские укрепления с их

защитниками. И затем атака пехоты, поддержанная артиллерийским огнем, должна была неизменно увенчаться успехом, то есть прорывом фронта и в дальнейшем расширением прорванного фронта. Очевидно, противник должен был уходить с тех участков, которые не были атакованы.

Такой способ действий в 1915 году дал полную победу австро-германцам над русской армией, отбросив нас далеко на восток; противник занял чуть ли не четверть европейской России, захватил около двух миллионов пленных, несколько крепостей и неисчислимый военный материал разного рода. Для объяснения такого удивительного успеха этого способа действий следует, по справедливости, признать, что в 1915 году наши укрепленные полосы были устроены ниже всякой критики, никаких целесообразных мер противодействия мы не предпринимали, тяжелой артиллерии у нас почти совсем не было и наконец самое главное — у нас вообще не было никаких огнестрельных припасов. В тех же случаях, когда принимались соответствующие меры для противодействия, прорыв фронта вышеозначенным способом успеха не имел. Дело в том, что такая подготовка к прорыву фронта при наличии воздушной разведки секретной быть не может: подвоз артиллерии, громадного количества огнестрельных припасов, значительное сосредоточение войск, интендантских складов и т. д. требуют много времени, и скрыть все это мудрено. Самая подготовка к атаке, то есть расстановка артиллерии различных калибров, причем каждая артиллерийская группа получает свою особую задачу, а каждый род артиллерии свое особое назначение, устройство телефонной связи и наблюдательных пунктов, устройство плацдарма, чтобы довести свои передовые окопы до окопов противника на 200–300 шагов, на что требуются громадные земляные работы, — все это требует не менее шести-восьми недель времени. Следовательно, противник, безошибочно определив выбранный пункт удара, имеет полную возможность собрать к назначенному месту и свою артиллерию и свои резервы и принять все меры к тому, чтобы отразить удар.

На Западном и Северо-Западном фронтах были выбраны на каждом по одному участку фронта, куда уже свозились все необходимые материалы для атаки по вышеизложенному способу, и на военном совете 1 апреля генерал Алексеев предупреждал главнокомандующих, в особенности Эверта, о необходимости избежать преждевременного сосредоточения резервов, дабы не открыть противнику своих карт. На это вполне резонно Эверт ответил, что скрыть место нашего удара все равно невозможно, так как земляные работы для подготовки плацдарма раскроют противнику наши намерения.

Во избежание вышеуказанного важного неудобства я приказал не в одной, а во всех армиях вверенного мне фронта подготовить по одному ударному участку, а кроме того, в некоторых корпусах выбрать каждому свой ударный участок и на всех этих участках немедленно начать земляные работы для сближения с противником. Благодаря этому на вверенном мне фронте противник увидит такие земляные работы в 20–30 местах, и даже перебежчики не будут в состоянии сообщать противнику ничего иного, как то, что на данном участке готовится атака. Таким образом, противник лишен возможности стягивать к одному месту все свои силы и не может знать, где будет ему наноситься главный удар. У меня было решено нанести главный удар в 8-й армии, направлением на Луцк, куда я и направлял мои главные резервы и артиллерию, но и остальные армии должны были наносить каждая хотя и второстепенные, но сильные удары, и, наконец, каждый корпус на какой-либо части своего боевого участка сосредоточивал возможно большую часть своей артиллерии и резервов, дабы сильнейшим образом притягивать на себя внимание противостоящих ему войск и прикрепить их к своему участку фронта.

Правда, этот способ действий имел, очевидно, свою обратную сторону, заключающуюся в том, что на месте главного удара я не мог сосредоточить того количества войск и артиллерии, которое там было бы, если вместо многочисленных ударных групп у меня была бы только одна. Каждый образ действий имеет свою обратную сторону, и я считал, что нужно выбрать тот план действий, который наиболее выгоден для данного случая, а не подражать слепо немцам. Припомним, что 1 апреля на военном совете в Ставке мне лишь условно было разрешено выбирать момент и атаковать врага, с тем чтобы помочь Эверту успешно нанести главный удар и не допустить посылки противником подкреплений с моего фронта. В то время, когда я излагал мои соображения, мои сотрудники, видя, сколь я уклоняюсь от общепринятого шаблона атаки, очень смущались, а Каледин доложил, что он сомневается в успехе дела и думает, что едва ли его главный удар приведет к желательным результатам, тем более что на луцком направлении неприятель в особенности основательно укрепился.

На это я ему ответил, что 8-ю армию я только что ему сдал, неприятельский фронт там знаю лучше него и что я выбрал для главного удара именно это направление и подготавливал там все предварительные работы, потому что мы главным образом должны помочь Западному фронту, на который возлагаются наибольшие надежды, а следовательно, 8-я армия, ближайшая к Западному фронту, своим наступлением скорее всего поможет Эверту. Кроме того, движением 24-го корпуса вдоль полотна железной дороги на Маневичи — Ковель, а ударной группой от Луцка на Ковель же при настоящем расположении войск противник легко будет захвачен в клещи, и тогда все войска противника, расположенные у Пинска и севернее, должны будут без боя очистить эти места. Если же генерал Каледин все-таки не надеется на успех, то я, хотя и скрепя сердце, перенесу главный удар южнее, передав его Сахарову на львовском направлении. Каледин сконфузился, — очевидно, отказаться от главной роли в этом наступлении он не желал. Потом он мне сказал, что отказывался от нанесения главного удара лишь для того, чтобы снять с себя ответственность на случай неудачи, но что он приложит все силы для выполнения возложенной на него задачи. Я тут же разъяснил ему, что легко может статься, что на месте главного удара мы можем получить небольшой успех или совсем его не иметь, но так как неприятель атакуется нами во многих местах, то большой успех может оказаться там, где мы в настоящее время его не ожидаем, и тогда я направлю свои резервы туда, где нужно будет развить наибольший успех. Это заявление очень подкрепило и успокоило остальных командующих армиями. Сроком окончательной подготовки я назначил 10 мая и объявил, что начиная с 10 мая, по моему телеграфному извещению, спустя неделю нужно быть совершенно готовым к решительному переходу в наступление. Никаких отговорок и просьб о продлении срока я ни в коем случае принимать не буду и прошу это твердо помнить. На этом наше совещание и закончилось.

В конце апреля я получил извещение от Алексеева, что государь с супругой и дочерьми едет в Одессу для смотра Сербской дивизии, сформированной из пленных австрийских славян, и что мне приказано его встретить в Бендерах 30 апреля. Сначала я поехал прямо в Одессу, дабы предварительно ознакомиться с Сербской дивизией и с положением дел в этом округе, так как этот округ был мне совершенно неизвестен, тогда как Киевский я близко знал. В Сербской дивизии было, насколько мне помнится, около 10 тысяч человек с большим количеством бывших австрийских офицеров. Выглядела она хорошо и жаловалась лишь на отсутствие артиллерии, которая для нее формировалась, но не была еще готова. На следующий день я встретил царя в Бендерах на дебаркадере; он произвел там смотр сформированной пехотной дивизии. Смотр прошел по общему шаблону, и в тот же день царь поехал дальше, в Одессу.

Так как я там должен был присутствовать при встрече, а мой вагон не мог быть прицеплен к царскому поезду, то генерал Воейков пригласил меня к себе в купе. Царя сопровождали, как и во все предыдущие поездки, дворцовый комендант Воейков, исполнявший обязанности гофмаршала князь Долгорукий, начальник конвоя граф Граббе и флаг-капитан адмирал Нилов. Все эти лица ничего общего с войной не имели, и меня как прежде, так и теперь удивляло, во-первых, что царь в качестве верховного главнокомандующего уезжает на продолжительное время из Ставки и, очевидно, в это время исполнять свои обязанности верховного вождя не может, а во-вторых, если уж он уезжал, то хотя бы для декорума ему нужно было брать с собой какого-либо толкового офицера Генерального штаба в качестве докладчика по военным делам. Связь же царя с фронтом состояла лишь в том, что он ежедневно по вечерам получал сводку сведений о происшествиях на фронте. Думаю, что эта связь чересчур малая; она с очевидностью указывала, что царь фронтом интересуется мало и ни в какой мере не принимает участия в исполнении столь сложных обязанностей, возложенных по закону на верховного главнокомандующего. В действительности царю в Ставке было скучно. Ежедневно в 11 часов утра он принимал доклад начальника штаба и генерал-квартирмейстера о положении на фронте, и в сущности на этом заканчивалось его фиктивное управление войсками. Все остальное время дня ему делать было нечего, и поэтому, мне кажется, он старался все время разъезжать то в Царское Село, то на фронт, то в разные места России, без какой-либо определенной цели, а лишь бы убить время. В данном случае, как мне объяснили его приближенные, эта поездка в Одессу и Севастополь была им предпринята главным образом для того, чтобы развлечь свое семейство, которому надоело сидеть на одном месте, в Царском Селе.

В течение этих нескольких дней я неизменно завтракал за царским столом, между двумя великими княжнами, но царица к высочайшему столу не выходила, а ела отдельно, и на второй день пребывания в Одессе я был приглашен к ней в ее вагон. Она встретила меня довольно холодно и спросила, готов ли я к переходу в наступление. Я ответил, что еще не вполне, но рассчитываю, что мы в этом году разобьем врага. На это она ничего не ответила, а спросила, когда думаю я перейти в наступление. Я доложил, что мне это пока неизвестно, что это зависит от обстановки, которая быстро меняется, и что такие сведения настолько секретны, что я их и сам не помню. Она, помолчав немного, вручила мне образок св. Николая-Чудотворца; последний ее вопрос был: приносят ли ее поезда-склады и поезда-бани какую-либо пользу на фронте? Я ей по совести ответил, что эти поезда приносят громадную пользу и что без этих складов раненные во многих случаях не могли бы быть своевременно перевязаны, а следовательно, и спасены от смерти. На этом аудиенция и закончилась. В общем, должен признать, что встретила она меня довольно сухо и еще суше со мной простилась. Это был последний раз, когда я ее видел.

Никогда не мог я понять, за что императрица меня так сильно не любила. Она ведь должна была видеть, как я неутомимо работал на пользу родины, следовательно, в то время во славу ее мужа и ее сына. Я был слишком далек от двора, так что никакого повода к личной антипатии подать не мог.

Странная вещь произошла с образом св. Николая, который она мне дала при этом последнем нашем свидании.

Эмалевое изображение лика святого немедленно же стерлось, и так основательно, что осталась лишь одна серебряная пластинка. Суеверные люди были поражены, а нашлись и такие, которые заподозрили нежелание святого участвовать в этом лицемерном благословении. Одно твердо знаю, что нелюбовь этой глубоко несчастной, роковой для нашей родины женщины я ничем сознательно не заслужил. А жена моя от всей души много помогала и старалась быть полезной ее благотворительным делам и складам на Юго-Западном фронте. Все это было поставлено на большую высоту благодаря многим сотрудникам моей жены, работавшим не покладая рук, и царице приходилось скрепя сердце посылать высочайшие благодарственные телеграммы.

Как тяжело все это нам вспоминать!

Смотр войск прошел благополучно, и никаких неприятных инцидентов не было, да нужно правду сказать, что по натуре своей царь был человек снисходительный и всегда старался благодарить. Из Одессы вся царская семья уехала в Севастополь, который мне подчинен не был; я же вернулся в штаб фронта.

Чтобы дать понятие о том, какая кропотливая и трудная работа требуется для подготовки атаки неприятельской укрепленной позиции современного типа, изложу тут вкратце, что армии Юго-Западного фронта должны были исполнить в течение восьми недель для того, чтобы успешно атаковать врага.

Уже заранее с помощью войсковой агентуры и воздушной разведки мы ознакомились с расположением противника и сооруженными им укрепленными позициями. Войсковая разведка и непрерывный захват пленных по всему фронту дали возможность точно установить, какие неприятельские части находились перед нами в боевой линии.

Выяснилось, что немцы сняли с нашего фронта несколько своих дивизий для переброски их на французский. В свою очередь австрийцы, надеясь на свои значительно укрепленные позиции, также перебросили несколько дивизий на итальянский фронт в расчете, что мы больше не способны к наступлению, они же в течение этого лета раздавят итальянскую армию. Действительно, в начале мая на итальянском фронте они перешли в решительное успешное наступление. По совокупности собранных нами сведений мы считали, что перед нами находятся австро-германцы силою в 450 тысяч винтовок и 30 тысяч сабель. Преимущество противника над нами состояло в том, что его артиллерия была более многочисленна по сравнению с нашей, в особенности тяжелой, и, кроме того, пулеметов у него было несравнимо больше, чем у нас. Агентурная разведка, кроме того, сообщила нам, что в тылу у неприятеля резервов почти нет и что подкреплений к нему не подвозится. В свою очередь воздушная разведка с самолетов сфотографировала все неприятельские укрепленные позиции как ее боевой линии, так и лежавшие в тылу. Эти фотографические снимки с помощью проекционного фонаря разворачивались в план и помещались на карте; фотографическим путем эти карты легко доводились до желаемого масштаба. Мною было приказано во всех армиях иметь планы в 250 саженой в дюйме с точным нанесением на них всех неприятельских позиций. Все офицеры и начальствующие лица из нижних чинов снабжались подобными планами своего участка.

На основании всей этой работы выяснилось, что неприятельские позиции были чрезвычайно сильно укреплены. По всему фронту они состояли не менее как из трех укрепленных полос в расстоянии друг от друга приблизительно от 3 до 5 верст. В свою очередь, каждая полоса состояла из нескольких линий окопов, не менее трех, и в расстоянии одна от другой от 150 до 300 шагов, в зависимости от

конфигурация местности. Все окопы были полны, выше роста человека, и везде в изобилии были построены тяжелые блиндажи, убежища, лисьи норы, гнезда для пулеметов, бойницы, козырьки и целая система многочисленных ходов сообщения для связи с тылом. Окопы были сооружены с таким расчетом, чтобы подступы к позициям обстреливались перекрестным ружейным и пулеметным огнем.

Убежища были устроены чрезвычайно основательно, глубоко врыты в землю и укрывали людей не только от легких, но и от тяжелых артиллерийских снарядов. Они имели сверху два ряда бревен, присыпанных слоем земли толщиной около 2 S аршин; в некоторых местах вместо бревен были железобетонные сооружения надлежащей толщины, в некоторых местах они устраивались даже с комфортом: стены и потолки обиты были досками; полы были или дощатые или глинобитные, а величина таких комнат была шагов двенадцать в длину и шесть в ширину; в окна, там, где это оказывалось возможным, были вставлены застекленные рамы. В таких помещениях ставилась складная железная печь и были устроены нары и полки. Для начальствующих лиц устраивались помещения из трех-четырех комнат с кухней, с крашеными полами и со стенами, оклеенными обоями. Каждая укрепленная полоса позиций противника была основательно оплетена колючей проволокой: перед фронтом тянулась проволочная сеть, состоявшая из 19—21 ряда кольев. Местами таких полос было несколько, в расстоянии 20—50 шагов одна от другой; некоторые ряды были оплетены столь толстой стальной проволокой, что ее нельзя было резать ножницами; на некоторых боевых участках через проволоку заграждений пропускался сильный переменный электрический ток высокого напряжения, в некоторых местах подвешены были бомбы, а во многих местах впереди первой полосы были заложены самовзрывающиеся фугасы. Вообще эта работа австро-германцев по созданию укреплений была основательная и произведена непрерывным трудом войск в течение более девяти месяцев.

Очевидно, что осуществление прорыва таких сильных, столь основательно укрепленных позиций противника было почти невероятным. Все это мне было хорошо известно, и я отлично понимал всю затруднительность атаки, которую ниже вкратце изложу. Но я был уверен, что все же есть возможность вполне успешно прорывать фронт и при таких тяжелых условиях. Уже выше я говорил об одном из главных условий успеха атаки — об элементе внезапности, и для сего, как было выше сказано, мною было приказано готовить плацдармы для атаки не на одном каком-нибудь участке, а по всему фронту всех вверенных мне армий, дабы противник никак не мог догадаться, где будет он атакован, и не мог собрать сильную войсковую группу для противодействия. Всякому понятно, что самые укрепления, как бы они ни были сильны, без надлежащей живой силы отбить атаку не могут, и в ослаблении неприятельских сил на моем фронте главным образом заключалась моя надежда на успех.

Каждая армия сообразно с имевшимися у нее средствами должна была выбрать у себя подходящий участок для прорыва фронта неприятельской позиции. На основании общей разведки, по совокупности всех собранных данных каждая армия наметила участки для прорыва и представила свои соображения об атаке на мое утверждение. Когда эти участки были мной окончательно утверждены и вполне точно были установлены места первых ударов, началась горячая работа по самой тщательной подготовке к атаке: в эти районы скрытно притягивались войска, предназначавшиеся для прорыва неприятельского фронта. Однако, для того чтобы противник не мог заблаговременно разгадать наши намерения, войска располагались в тылу за боевой линией, но их начальники разных степеней, имея у себя планы в 250 саженой в дюйме с подробным расположением противника, все время находились впереди и тщательно изучали районы, где им предстояло действовать, лично знакомились с первой линией неприятельских укреплений, изучали подступы к ним, выбирали артиллерийские позиции, устраивали наблюдательные пункты и т. д. Пехотные части еще задолго до атаки и, как было сказано, во многих местах начали сближение с противником окопными работами: по ночам они выдвигались ходами сообщений на 100—200 шагов вперед и устраивали окопы, обнося их рогатками с колючей проволокой. Таким путем на избранных участках наши окопы, постепенно сближаясь с противником, доводились до того, что отстояли от позиций австро-германцев всего на 200—300 шагов, в зависимости от местности. Для удобства атаки и скрытного расположения резервов на этих исходных для боя плацдармах строилось несколько параллельных рядов окопов, также соединенных между собой ходами сообщений.

Лишь за несколько дней до начала наступления незаметно ночью были введены в боевую линию войска, предназначенные для первоначальной атаки, и поставлена артиллерия, хорошо замаскированная, на избранные позиции, с которых она и произвела тщательную пристрелку по намеченным целям. Было обращено большое внимание на тесную и непрерывную связь пехоты с артиллерией. Во время этой подготовки к наступлению, работы крайне тяжелой и кропотливой, лично я, а также командированные мною для этой цели мой начальник штаба генерал Клембовский и некоторые другие офицеры Генерального штаба и штаба фронта ездили для проверки работ и добытых сведений о противнике.

Должен добавить, что как в этом случае, так и ранее, почти с начала кампании при мне по инженерной части состоял известный военный инженер генерал Величко. Он во многом мне помогал и в данном случае помог войскам своими указаниями и советами. Во время неудачной японской войны на него много нападали за постройку несметного количества укрепленных позиций, которых даже и не пришлось защищать. Обвинение это — весьма странного свойства. Он строил там, где высшее начальство это ему указывало, и строил, несомненно, отлично, а что затем войска, по распоряжению того же начальства, их не защищали, а до боя бросали их — в этом, мне кажется, винить инженеров более чем странно, так как область командования их не касается.

В свою очередь, командующие армиями и начальники всех степеней усердно проверяли и изучали всю производившуюся работу. Как я и наметил раньше, к 10 мая наша подготовка к атаке была в общих чертах закончена.

Глава 9

Боевые действия армий Юго-Западного фронта

11 мая я получил телеграмму начальника штаба Верховного главнокомандующего, в которой он мне сообщал, что итальянские войска потерпели настолько сильное поражение, что итальянское высшее командование не надеется удержать противника на своем фронте и настоятельно просит нашего перехода в наступление, чтобы оттянуть часть сил с итальянского фронта к нашему, поэтому, по приказанию государя, он меня спрашивает, могу ли я перейти в наступление и когда. Я ему немедленно ответил, что армии вверенного мне фронта готовы и что, как я раньше говорил, они могут перейти в наступление неделю спустя после извещения. На этом основании доношу, что мною отдан приказ 19 мая перейти в наступление всеми армиями, но при одном условии, на котором особенно настаиваю, чтобы и Западный фронт одновременно также двинулся вперед, дабы сковать войска, против него расположенные. Вслед за тем Алексеев

пригласил меня для разговора по прямому проводу. Он мне передал, что просит меня начать атаку не 19 мая, а 22-го, так как Эверт может начать свое наступление лишь 1 июня. Я на это ответил, что и такой промежуток несколько велик, но с ним мириться можно при условии, что дальнейших откладываний уже не будет. На это Алексеев мне ответил, что он гарантирует мне, что дальнейших откладываний не будет. И тотчас же разослал телеграммами приказание командующим армиями, что начало атаки должно быть 22 мая на рассвете, а не 19-го.

21 мая вечером Алексеев опять пригласил меня к прямому проводу. Он мне передал, что несколько сомневается в успехе моих активных действий вследствие необычного способа, которым я его предпринимаю, то есть атаки противника одновременно во многих местах вместо одного удара всеми собранными силами и всей артиллерией, которая у меня распределена по армиям. Алексеев высказал мнение, не лучше ли будет отложить мою атаку на несколько дней для того, чтобы устроить лишь один ударный участок, как это уже выработано практикой настоящей войны. Подобного изменения плана действий желает сам царь, и от его имени он и предлагает мне это видоизменение. На это я ему возразил, что изменять мой план атаки я наотрез отказываюсь и в таком случае прошу меня сменить. Откладывая вторично день и час наступления не нахожу возможным, ибо все войска стоят в исходном положении для атаки, и пока мои распоряжения об отмене дойдут до фронта, артиллерийская подготовка начнется. Войска при частых отменах приказаний неизбежно теряют доверие к своим вождям, а потому настоятельно прошу меня сменить. Алексеев мне ответил, что верховный уже лег спать и будить его ему неудобно, и он просит меня подумать. Я настолько разозлился, что резко ответил: «Сон верховного меня не касается, и больше думать мне не о чем. Прошу сейчас ответа». На это генерал Алексеев сказал: «Ну, бог с вами, делайте как знаете, а я о нашем разговоре доложу государю императору завтра». На этом наш разговор и кончился. Должен пояснить, что все подобные мешавшие делу переговоры по телеграфу, письмами и т. п., которых я тут не привожу, мне сильно надоели и раздражали меня. Я очень хорошо знал, что в случае моей уступчивости в вопросе об организации одного удара этот удар несомненно окончится неудачей, так как противник непременно его обнаружит и сосредоточит сильные резервы для контрудара, как во всех предыдущих случаях. Конечно, царь был тут ни при чем, а это была система Ставки с Алексеевым во главе — делать шаг вперед, а потом сейчас же шаг назад.

Чтобы дальнейшее изложение боевых действий армий Юго-Западного фронта в 1916 году было более понятным, мне необходимо теперь объяснить читателю, какие цели я преследовал и выполнения какого плана действий я добивался.

Естественно, что вначале, сейчас же после военного совета в Ставке 1 апреля, когда мне, как бы из милости, разрешено было атаковать врага вместе с моими северными боевыми товарищами и я был предупрежден, что мне не дадут ни войск, ни артиллерии сверх имеющихся у меня, мои намерения состояли в том, чтобы настолько сильно сковать противостоящие мне части противника, чтобы он не только не мог ничего перекидывать с моего фронта на другие фронты, но наоборот — принужден был посылать кое-что и на мой фронт. В это время я думал лишь о том, чтобы наилучшим образом помочь Эверту, на которого возлагались наибольшие надежды и которого поэтому и снабдили всеми средствами, имевшимися в распоряжении Ставки. По этим соображениям 8-я армия, как ближайший сосед Западного фронта, была назначена производить главный удар Юзфронта на Луцк — Ковель. Затем я придавал большое значение успеху 9-й армии, соседу Румынии, которая колебалась, на чью сторону стать. Что же касается 7-й и 11-й армий, то я им придавал значение второстепенное. Сообразно с этим и были мною распределены мои резервы и технические средства. Дальше в этот момент я не заглядывал, ибо будущее было от меня скрыто.

11 мая, при получении первой телеграммы Алексеева о необходимости немедленно помочь Италии и с запросом, могу ли я перейти сейчас в наступление, решение военного совета от 1 апреля оставалось в силе; изменилось лишь то, что Юзфронт начал наступление раньше других и тем притягивал на себя силы противника в первую голову. Даже в испрошенном мною подкреплении одним корпусом мне было наотрез отказано. В июне, когда обнаружились крупные размеры успеха Юзфронта, в общественном мнении начали считать Юзфронт как будто бы главным, но войска и технические средства оставались на Западном фронте, от которого Ставка все еще ждала, что он оправдает свое назначение. Но Эверт был тверд в своей линии поведения, и тогда Ставка, чтобы отчасти успокоить мое возмущение, стала перекидывать войска сначала с Северо-Западного фронта, а затем и с Западного. Ввиду слабой провозоспособности наших железных дорог, которая была мне достаточно известна, я просил не о перекидке войск, а о том, чтобы разбудить Эверта и Куропаткина, — не потому, что я хотел усилить, а потому что знал, что, пока мы раскочиваемся и подвезем один корпус, немцы успеют перевезти три или четыре корпуса. Странно, что Ставка, правильно считавшая, что лучшая и быстрее помощь Италии состояла в моей атаке, а не в посылке войск в Италию, когда дело касалось излюбленных ею Эверта и Куропаткина, пасовала перед ними, занималась лишь перекидками, притом, конечно, в недостаточных размерах, несвоевременно и не туда, куда я просил, и удивлялась, что я сержусь. А сердиться я имел право, ибо легко мог предвидеть, что при таком образе действий мой фронт будет скоро остановлен сильными подкреплениями, спешно свозившимися к противнику со всех фронтов, и в конце концов меня же будут упрекать в том, что Юзфронт не сумел получить стратегических результатов, а одержал только тактический успех, который имел, конечно, только второстепенное значение.

Вспомним, однако, опять-таки военный совет 1 апреля и его решения и спросим: когда и кем было решено изменить цели, назначенные фронтам? А затем спросим: если эти цели были изменены, то каковы они были? Должен откровенно сознаться, что мне они были неизвестны, а знал я только, что за все время боев 1916 года Ставка неотступно от меня требовала во что бы то ни стало взять Ковель, и все перевозки направлялись на Ровно, то есть опять-таки к Ковелю, что в конечном результате указывало на желание помочь и толкнуть Западный фронт, то есть Эверта. Иначе говоря, цель оставалась та же. А общие цели ставил ведь Алексеев, а не я.

Я не спорю, что я мог бы, при тогдашнем составе Ставки, добиться другой цели для действий, например наступления на Львов, но для этого требовалась колоссальная перегруппировка войск, которая заняла бы много времени, и вражеские силы, сосредоточенные у Ковеля, конечно, прекрасно успели бы в свою очередь принять меры против этого предприятия. Дело сводилось в сущности к уничтожению живой силы врага, и я рассчитывал, что разобью их у Ковеля, а затем руки будут развязаны, и куда захочу, туда и пойду. Я чувствую за собой другую вину: мне следовало не соглашаться на назначение Каледина командующим 8-й армией, а настоять на своем выборе Клембовского, и нужно было тотчас же сменить Гилленшмидта с должности командира кавалерийского корпуса. Есть большая вероятность, что при таком изменении Ковель был бы взят сразу, в начале Ковельской операции. Но теперь раскаяние бесполезно.

С рассветом 22 мая на назначенных участках начался сильный артиллерийский огонь по всему Юго-Западному фронту. Главной задержкой для наступления пехоты справедливо считались проволочные заграждения вследствие их прочности и многочисленности,

Артиллерия требовалась огнем легкой артиллерии проделывать многочисленные проходы в этих заграждениях. На тяжелую артиллерию и гаубицы возлагалась задача уничтожения окопов первой укрепленной полосы и наконец, часть артиллерии предназначалась для подавления артиллерийского огня противника. По достижении одной задачи та часть артиллерии, которая ее выполнила, должна была переносить свой огонь на другие цели, которые по ходу дела считались наиболее неотложными, всемерно помогая пехоте продвигаться вперед. Вообще же огонь артиллерии имеет громадное значение в успехе атаки, артиллерия начинает атаку и после ее надлежащей подготовки, то есть после того, как сделано достаточное количество проходов в проволочных заграждениях и уничтожены укрепления противника, его убежища и пулеметные гнезда, должна сопровождать атаку пехоты, препятствуя своим заградительным огнем подходу неприятельских резервов. Роль начальника артиллерии, как из этого видно, имеет громадное значение, и он, как капельмейстер в оркестре, должен дирижировать этим огнем, для чего телефонная связь между ним и артиллерийскими группами должна быть чрезвычайно прочно устроена, дабы она не могла быть прервана во время боя.

Должен признать, что везде наша артиллерийская атака увенчалась полным успехом. В большинстве случаев проходы были сделаны в достаточном количестве и основательно, а первая укрепленная полоса совершенно сметалась и вместе со своими защитниками обращалась в груды обломков и растерзанных тел. Тут ясно обнаружилась обратная сторона медали: многие убежища разрушены не были, но сидевшие там части гарнизона должны были класть оружие и сдаваться в плен, потому что стоило хоть одному гренадеру с бомбой в руках стать у выхода, как спасения уже не было, ибо в случае отказа от сдачи внутрь убежища металась граната, и спрятавшиеся неизбежно погибали без пользы для дела; своевременно же вылезть из убежищ чрезвычайно трудно и угадать время невозможно. Таким образом, вполне понятно то количество пленных, которое неизменно попадало к нам в руки. Я не буду, как и раньше, подробно описывать шаг за шагом боевые действия этого достопамятного периода наступления вверенных мне армий; скажу лишь, что к полудню 24 мая было нами взято в плен 900 офицеров, свыше 40 000 нижних чинов, 77 орудий, 134 пулемета и 49 бомбометов; к 27 мая нами уже было взято 1240 офицеров, свыше 71 000 нижних чинов и захвачено 94 орудия, 179 пулеметов, 53 бомбомета и миномета и громадное количество всякой другой военной добычи.

Но в это же время у меня снова состоялся довольно неприятный разговор с Алексеевым. Он меня опять вызвал к телеграфному аппарату, чтобы сообщить, что вследствие дурной погоды Эверт 1 июня атаковать не может, а переносит свой удар на 5 июня. Конечно, я был этим чрезвычайно недоволен, что, не стесняясь, и высказал, а затем спросил, могу ли я, по крайней мере, быть уверенным, что хоть 5 июня Эверт наверняка перейдет в наступление. Алексеев ответил мне, что в этом не может быть никакого сомнения, но 5 июня опять меня вызвал к телеграфному аппарату, чтобы сообщить иное: по новым данным, разведчики Эверта доносили, что против его ударного участка собраны громадные силы противника и многочисленная тяжелая артиллерия, а потому Эверт считает, что атака на подготовленном им месте ни в коем случае успешной быть не может, что, если ему прикажут, он атакует, но при убеждении, что он будет разбит; Эверт просит разрешения государя перенести пункт атаки к Барановичам, где, по его мнению, атака его может иметь успех, и, принимая во внимание все вышесказанное, государь император разрешил Эверту от атаки воздержаться и возможно скорее устроить новую ударную группу против Барановичей. На это я ответил, что случилось то, чего я боялся, то есть, что я буду брошен без поддержки соседей и что, таким образом, мои успехи ограничатся лишь тактической победой и некоторым продвижением вперед, что на судьбу войны никакого влияния иметь не будет. Неминуемо противник со всех сторон будет снимать свои войска и бросать их против меня, и, очевидно, что в конце концов я буду принужден остановиться. Считаю, что так воевать нельзя и что даже если бы атаки Эверта и Куропаткина не увенчались успехом, то самый факт их наступления значительными силами на более или менее продолжительное время сковал войска противника против них и не допустил бы посылку резервов с их фронтов против моих войск. Создание новой ударной группы против Барановичей ни к каким благим результатам привести не может, так как для успешной атаки укрепленной полосы требуется подготовка не менее шести недель, а за это время я понесу излишние потери и могу быть разбит. Я просил доложить государю мою настоятельную просьбу, чтобы был дан приказ Эверту атаковать теперь же и на издавна подготовленном участке. Алексеев мне возразил: «Изменить решения государя императора уже нельзя», — и добавил, что Эверту дан срок атаковать противника у Барановичей не позже 20 июня. «Зато, — сказал Алексеев, — мы вам пришлем в подкрепление два корпуса». Я закончил нашу беседу заявлением, что такая запоздалая атака мне не поможет, а Западный фронт опять потерпит неудачу по недостатку времени для подготовки удара и что если бы я вперед знал, что это так и будет, то наотрез отказался бы от атаки в одиночку. Что касается получения двух корпусов в подкрепление, то по нашим железным дорогам их будут везти бесконечно и нарушат подвоз продовольствия, пополнений и огнестрельных припасов моим армиям; кроме того, два корпуса во всяком случае не могут заменить атак Эверта и Куропаткина. За это время противник по своей железнодорожной сети и со своим многомиллионным подвижным составом по внутренним линиям может подвезти против меня целых десять корпусов, а не два.

Я хорошо понимал, что царь тут ни при чем, так как в военном деле его можно считать младенцем, и что весь вопрос состоит в том, что Алексеев, хотя отлично понимает, каково положение дел и преступность действий Эверта и Куропаткина, но, как бывший их подчиненный во время японской войны, всемерно старается прикрыть их бездействие и скрепя сердце соглашается с их представлениями.

Генерал А. Ф. Рагоза

Впоследствии командующий 4-й армией генерал Рагоза, бывший моим подчиненным в мирное и военное время, мне говорил, что на него была возложена задача атаки укрепленной позиции у Молодечно, что подготовка его была отличная и он был твердо убежден, что с теми средствами, которые были ему даны, он безусловно одержал бы победу, а потому как он, так и его войска были вне себя от огорчения, что атака, столь долго готовившаяся, совершенно для них неожиданно отменена. Поэтому поводу он ездил объясняться с Эвертом. Тот ему сказал сначала, что такова воля государя императора; на это Рагоза заявил, что он не хочет нести ответственности за этот неудавшийся по неизвестной ему причине маневр и что просит разрешения подать докладную записку, где ясно изложит, что не было никакого основания для оставления этой атаки и что новая атака у Барановичей едва ли может быть успешной по недостатку подготовки; он просил Эверта представить эту докладную записку Верховному главнокомандующему. Эверт сначала согласился на эту просьбу и посадил Рагозу с его начальником штаба в своем кабинете для составления этой записки, но когда Рагоза эту записку написал и сам вручил ее Эверту, то командующий заявил ему, что такую записку он никому не подаст и оставит у себя, и тут только сознался, что инициатива отказа от удара на выбранном у Молодечно участке исходила от него лично и что он сам испросил разрешения в Ставке перенести удар на другое место.

Все это меня чрезвычайно удивило, и я спросил Рагозу, как он сам объясняет себе такой ни с чем несообразный поступок Эверта.

Рагоза ответил мне, что, по его убеждению, громадные успехи, которые сразу одержали мои армии, необыкновенно волновали Эверта, и ему кажется, что Эверт боялся, как бы в случае неуспеха он как военачальник не скомпрометировал себя, и полагал, что в таком случае вернее воздержаться от боевых действий, дабы не восстановить против себя общественного мнения. Впоследствии до меня дошли сплетни, будто Эверт однажды сказал: «С какой стати я буду работать во славу Брусилова». Я, конечно, этому не верю, но привожу это как доказательство того, чего он, собственно, добился своими действиями в общественном мнении, о котором, по словам Рагозы, так заботился. Русской же армии он повредил бесповоротно. Как бы то ни было, я остался один. Чтобы покончить с вопросом о помощи, оказанной Западным фронтом, скажу лишь, что действительно в последних числах июня, по настоянию Алексеева, атака на Барановичи состоялась, но, как это нетрудно было предвидеть, войска понесли громадные потери при полной неудаче, и на этом закончилась боевая деятельность Западного фронта по содействию моему наступлению.

Будь другой Верховный главнокомандующий — за подобную нерешительность Эверт был бы немедленно смещен и соответствующим образом заменен, Куропаткин же ни в каком случае в действующей армии никакой должности не получил бы. Но при том режиме, который существовал в то время, в армии безнаказанность была полная, и оба продолжали оставаться излюбленными военачальниками Ставки.

Все это время я получал сотни поздравительных и благодарственных телеграмм от самых разнообразных кругов русских людей. Всё всколыхнулось. Крестьяне, рабочие, аристократия, духовенство, интеллигенция, учащаяся молодежь — все бесконечной телеграфной лентой хотели мне сказать, что они — русские люди и что сердца их бьются заодно с моей дорогой, окровавленной во имя родины, но победоносной армией. И это было мне поддержкой и великим утешением. Это были лучшие дни моей жизни, ибо я жил одной общей радостью со всей Россией. Насколько я помню, если не первой, то одной из первых была телеграмма с Кавказа от великого князя Николая Николаевича: «Поздравляю, целую, обнимаю, благословляю». Прочитав эту телеграмму, я был сильно взволнован, настолько она меня тронула. Он, наш бывший Верховный главнокомандующий, не находил слов, чтобы достаточно сильно выразить свою радость по поводу наших побед. Я объясняю себе свое волнение тем, что нервы мои были слишком измучены предыдущими переживаниями в столкновениях с людьми совсем иного склада. И только несколько дней спустя мне подали телеграмму от государя, в которой стояло всего несколько сухих и сдержанных слов благодарности.

Такие впечатления не изглаживаются, и я их унесу с собой в могилу.

Хотя и покинутые нашими боевыми товарищами, мы продолжали наше кровавое боевое шествие вперед, и к 10 июня нами было уже взято пленными 4013 офицеров и около 200 000 солдат; военной добычи было: 219 орудий, 644 пулемета, 196 бомбометов и минометов, 46 зарядных ящиков, 38 прожекторов, около 150 000 винтовок, много вагонов и бесчисленное количество разного другого военного материала. 11 июня в состав Юго-Западного фронта была передана 3-я армия генерала Леша, и я поставил задачей 3-й и 8-й армиям — разбить противостоящего противника и овладеть районом Городок — Маневичи; двум левофланговым армиям, 7-й и 9-й, — продолжать наступление на Галич и Станиславов и, наконец, центральной, 11-й армии, — удерживать занимаемое положение. С 11 по 21 июня войска Леша и Каледина, во исполнение данной им задачи производили необходимые перегруппировки своих сил. В это же время 8-й армии Каледина пришлось отбивать многократные контратаки вновь подвезенных с других фронтов многочисленных германских полчищ, стремившихся прорвать фронт 8-й армии и отбросить ее к Луцку.

Собственно продвижение Каледина к Владимиру-Волынскому мною одобрено не было; произошло оно и не по его указанию, а вследствие горячности войск при преследовании разбитого противника; мною же ему многократно доказывалось, и сам я два раза к нему ездил для того чтобы заставить его, держась к западу оборонительно, обратить все свое внимание и все свои силы для захвата Ковеля. Но странный был характер у Каледина: невзирая на полную успешность действий, он все время плакался, что находится в критическом положении и ожидает ежедневно, по совершенно неизвестным причинам, как армии, так и себе гибели; управление войсками было у него нерешительное, колеблющееся. В свою очередь, войска видели его мало, а когда видели, то замечали лишь угрюмого, молчаливого генерала, с ними не говорившего и их не благодарившего; его не любили и ему не доверяли.

То, что Каледина мог сделать в мае и в начале июня, когда в Ковеле никаких почти войск не было, во второй половине июня он уже сделать был не в состоянии, а противник, вследствие бездействия моих соседей по фронту, успел подвезти многочисленные войска с наших Северного и Западного фронтов, а также с французского. Австрийцы же остановили свое наступление на Италию и перевезли на мой фронт все, что только могли, перейдя на итальянском к обороне. Таким образом, Италия была избавлена от нашествия врага, кроме того, уменьшился напор на Верден, так как и немцы принуждены были снять некоторое количество своих дивизий для переброски на мой фронт. В этом и была положительная сторона моего наступления.

Но это была работа для других, а не для нас. Если бы у нас был настоящий верховный вождь и все главнокомандующие действовали по его указу, то мои армии, не встречая достаточно сильного противодействия, настолько выдвинулись бы вперед и стратегическое положение врага было бы столь тяжелее, что даже без боя ему пришлось бы отходить к своим границам, и ход войны принял бы совершенно другой оборот, а ее конец значительно бы ускорился. Теперь же приходилось бороться в одиночку с постепенно усиливающимся противником. Мне потихоньку посылали подкрепления с бездействующих фронтов, но и противник не зевал, и так как он пользовался возможностью более быстрой переброски войск, то количество их возрастало в значительно большей прогрессии, нежели у меня, и численностью своей, невзирая на громадные потери пленными, убитыми и ранеными, противник стал значительно превышать силы моего фронта.

21 июня армии генерала Леша и Каледина перешли опять в решительное наступление и к 1 июля утвердились на реке Стоход, перекинув во многих местах свои авангарды на левый берег реки. Для нас имело большое значение то, что немцы и австрийцы, задерживая нас на ковельском и владимиرو-волынском направлениях, стали образовывать сильную группу в районе станции Маневичи для удара в правый фланг Каледина. Моим ударом в этом направлении указанными двумя армиями я предупредил намерение противника и не только свел к нулю маневренное значение ковель-маневической фланговой позиции, но и окончательно упрочил свое положение на Волыни. В это время войскам Сахарова, в особенности его правому флангу, приходилось очень тяжело, так как на него было произведено несколько настоячивых атак австро-германцев, но он отбил их все и сохранил занимаемые им позиции. Я очень оценил этот успех, так как все свои резервы, естественно, направлял на ударные участки, Сахарову же с данной ему оборонительной задачей приходилось действовать, имея сравнительно небольшое количество войск. 9-я армия Лечицкого за то же время овладела районом Делатыня.

К 1 июля 3-я армия и правый фланг 8-й армии стояли на Стоходе, 7-я армия продвинулась к западу от линии Езержаны — Порхов и 9-я армия заняла район Делатыня; в остальном положение наших армий приблизительно оставалось без изменения. С 1 по 15 июля 3-я и 8-я армии производили новую перегруппировку, подготавливаясь к дальнейшему наступлению в направлении на Ковель и Владимир-Волынский. К этому времени прибыл также гвардейский отряд, состоявший из двух гвардейских корпусов всех родов войск и одного гвардейского кавалерийского корпуса. К этому отряду я присоединил два армейских корпуса, и он вошел в боевую линию между 3-й и 8-й армиями направлением на Ковель. Он получил наименование Особой армии.

В этот период Сахаров со своей 11-й армией нанес три сильных, хотя и коротких, удара противнику; в результате этих боев Сахаров продвинулся своим правым флангом и центром на запад, заняв линию Кошев — Звеняч — Мерва — Лишнюв, и захватил в плен 34 000 австро-германцев, 45 орудий и 71 пулемет. Как я уже имел случай сказать, действиям 11-й армии я придавал значение лишь постольку, поскольку нужно было заставить противника опасаться перехода в наступление и не снимать своих войск с фронта этой армии. Сама по себе эта армия была настолько слаба, что не могла предпринять ничего серьезного.

Войска 7-й и 9-й армий в это время также совершили перегруппировку для нанесения сильного удара вдоль реки Днестр, в направлении на Галич, но Лечицкий за тот же период значительно продвинулся к юго-западу от города Куты; к 10 июля обе эти армии должны были опять перейти в наступление, но вследствие сильных дождей, непрерывно ливших в течение нескольких дней, вынуждены были отложить наступление до 15 июля. Эта оттяжка была для нас чрезвычайно невыгодна по многим причинам, главным же образом потому, что неприятель успел отгадать наши намерения и стянуть свои резервы на угрожаемые участки, — следовательно, элемент внезапности пропал.

15 июля все мои армии перешли в дальнейшее наступление. 3-я и Особая армии встретили на ковельском направлении чрезвычайно упорное сопротивление немцев, успевших подвезти новые весьма значительные подкрепления и массу тяжелой артиллерии. Хотя наши войска сбили противника в районах Селец и Трыстенъ и захватили там свыше 8000 пленных и 40 орудий, несколько вытянувшись вперед, но дойти до Ковеля возможности не имели. Время для взятия Ковеля было уже окончательно упущено. В свою очередь 8-я армия нанесла сильный удар противнику в районе деревни Кошев, захватила тут свыше 9000 пленных и 46 орудий и также несколько выдвинулась вперед, но дойти до Владимира-Волынского не могла. В дальнейшем этим трем армиям пришлось, укрепляя свои новые позиции, отбивать несколько упорных контратак немцев, веденных громадными силами и с многочисленной тяжелой артиллерией. 9-я армия в этот период продвигала свой левый фланг вперед, нанося удар из района Радзивиллов в юго-западном направлении. 15 июля был взят с боя город Броды, а 22 и 23 июля было вновь нанесено сильное поражение противнику на реках Граберк и Серет, причем он потерял одними пленными свыше 8000 человек.

Наконец, стремительной атакой левого фланга 11-й армии совместно с правым флангом 7-й армии неприятель с громадными потерями был отброшен к западу, и к 31 июля была занята намеченная линия Лишнюв — Дубы — Звижень и западнее Зборов. Левый фланг 7-й армии совместно с правым флангом 9-й армии атаковал противника на реке Коропец в направлении на Монастержиску. Однако австро-германцы к этому пункту успели подвезти значительные резервы и оказали там упорное сопротивление. 27 июля атаку повторили, и на сей раз успешно: был нанесен сильный удар врагу, в результате которого он поспешно стал отходить. Боевой неприятельский участок против центра 7-й армии, который императором Вильгельмом, посетившим его, был признан недоступным, был, однако, брошен почти без боя, так как наши войска охватили его с северо-запада и юго-запада. В свою очередь 9-я армия в упорном бою 15 июля успела сбить противника на станицлавовском направлении и продвинулась верст на 15, захватив при этом около 8000 пленных и 33 орудия. Неприятель отошел на заблаговременно приготовленную позицию. 25 июля Лечицкий ее атаковал и нанес врагу жестокое поражение. Во время подготовки атаки наша: артиллерия весьма успешно стреляла химическими снарядами по батарее противника, которая прекратила огонь и бросила свои орудия. За этот день опять было взято свыше 8000 пленных, в том числе 3500 немцев, много орудий; закончилась операция армий Юго-Западного фронта по овладению районом Тысменицы, Станиславов и Надворная.

В общем, с 22 мая по 30 июля вверенными мне армиями было взято всего 8255 офицеров, 370 153 солдата, 496 орудий 144 пулемета и 367 бомбометов и минометов, около 400 зарядных ящиков, около 100 прожекторов и громадное количество винтовок, патронов, снарядов и разной другой военной добычи. К этому времени закончилась операция армий Юго-Западного фронта по овладению зимней, чрезвычайно сильно укрепленной неприятельской позицией, считавшейся нашими врагами безусловно неприступной. На севере фронта нами была взята обратно значительная часть нашей территории, а центром и левым флангом вновь завоевана часть Восточной Галиции и вся Буковина. Непосредственным результатом этих удачных действий был выход Румынии из нейтрального положения и присоединение ее к нам.

КАЙЗЕР: «Итак, вы тоже против меня! Помните. что Гинденбург на моей стороне».

КОРОЛЬ РУМЫНИИ: «Да, зато свобода и справедливость на моей!»

Британский плакат

Эта неудачная для нашего противника операция была для него большим разочарованием: у австро-германцев было твердое убеждение, что их восточный фронт, старательно укреплявшийся в течение десяти и более месяцев, совершенно неуязвим, в доказательство его крепости была даже выставка в Вене, где показывали снимки важнейших укреплений. Эти неприступные твердыни, которые местами были закованы в железобетон, рухнули под сильными, неотразимыми ударами наших доблестных войск.

Что бы ни говорили, а нельзя не признать, что подготовка к этой операции была образцовая, для чего требовалось проявление полного напряжения сил начальников всех степеней. Все было продумано и все своевременно сделано. Эта операция доказывает также, что мнение, почему-то распространившееся в России, будто после неудач 1915 года русская армия уже развалилась — неправильно: в 1916 году она еще была крепка и, безусловно, боеспособна, ибо она разбила значительно сильнее врага и одержала такие успехи, которых до этого времени ни одна армия не имела.

К 1 августа для меня уже окончательно выяснилось, что помощи от соседей, в смысле их боевых действий, я не получу; одним же моим фронтом, какие бы мы успехи ни одержали, выиграть войну в этом году нельзя. Несколько большее или меньшее продвижение вперед

для общего дела не представляю особого значения; провидящего же настолько, чтобы это имело какое-либо серьезное стратегическое значение для других фронтов, я никоим образом рассчитывать не мог, ибо в августе, невзирая на громадные потери, понесенные противником, во всяком случае большие, чем наши, и на громадное количество пленных, нами взятых, войска противника перед моим фронтом значительно превысили мои силы, хотя мне и были подвезены подкрепления. Поэтому я продолжал бои на фронте уже не с прежней интенсивностью, стараясь возможно более сберечь людей, а лишь в той мере, которая оказывалась необходимой для сковывания возможно большего количества войск противника, косвенно помогая этим нашим союзникам — итальянцам и французам.

Одна из причин, не давших возможности овладеть Ковелем, помимо сильных подкреплений, подвезенных немцами, заключалась в том, что у них было громадное количество самолетов, которые летали эскадрильями в 20 и более аппаратов и совершенно не давали возможности нашим самолетам ни производить разведок, ни корректировать стрельбу тяжелой артиллерии, а о том, чтобы поднять привязные шары для наблюдений, и думать нельзя было. На все мои требования увеличить количество наших самолетов, для Особой и 3-й армий в особенности, я получал неизменный ответ, что самолеты ожидаются, что некоторое количество находится уже в Архангельске, но что пропускная способность железных дорог не допускает их перевозки в настоящее время и, в общем, мне не следует ожидать их прибытия в более или менее скором времени. Между тем наш воздушный флот был настолько слаб, что почти не имел возможности подниматься, и потому точное расположение неприятельской артиллерии мне было неизвестно, а корректировать стрельбу тяжелой артиллерии на ровной местности, покрытой густым лесом, было невозможно. Вследствие этого наша метко стреляющая артиллерия не могла проявить своих качеств и надлежащим образом готовить атаку пехоты и гасить огонь неприятельской артиллерии, которая к тому же превышала нашу количеством.

Другое неблагоприятное для наших успешных действий условие состояло в следующем. Прибывший на подкрепление моего правого фланга гвардейский отряд, великолепный по составу офицеров и солдат, очень самолюбивых и обладавших высоким боевым духом, терпел значительный урон без пользы для дела потому, что их высшие начальники не соответствовали своему назначению. Находясь долго в резерве, они отстали от своих армейских товарищей в технике управления войсками при современной боевой обстановке, и позиционная война, которая за это время выработала очень много своеобразных сноровок, им была неизвестна. Во время же самых боевых действий начать знакомиться со своим делом — поздно, тем более что противник был опытный. Сам командующий Особой армией генерал-адъютант Безобразов был человек честный, твердый, но ума ограниченного и невероятно упрямый. Его начальник штаба, граф Н. Н. Игнатьев, штабной службы совершенно не знал, о службе Генерального штаба понятия не имел, хотя в свое время окончил академию Генерального штаба с отличием. Начальник артиллерии армии герцог Мекленбург-Шверинский был человек очень хороший, но современное значение артиллерии знал очень неосновательно, тогда как артиллерийская работа была в высшей степени важная, и без искусного содействия артиллерии успеха быть не могло. Саперные работы, имеющие столь большое значение в позиционной войне, также производились неумело. Командир 1-го гвардейского корпуса великий князь Павел Александрович был благороднейший человек, лично безусловно храбрый, но в военном деле решительно ничего не понимал; командир 2-го гвардейского корпуса Раух, человек умный и знающий, обладал одним громадным для воина недостатком: его нервы совсем не выносили выстрелов, и, находясь в опасности, он терял присутствие духа и лишался возможности распоряжаться.

Я все это знал и писал об этом Алексееву, но и ему было очень трудно переменить такое невыгодное положение дела. По власти главнокомандующего фронтом я имел право смещать командующих армиями, корпусных командиров и все нижестоящее армейское начальство, но гвардия с ее начальством были для меня недосыгаемы. Царь лично их выбирал, назначал и сменял, и сразу добиться смены такого количества гвардейского начальства было невозможно. Во время моей секретной переписки по этому поводу частными письмами с Алексеевым на мой фронт приехал председатель Государственной думы Родзянко и спросил разрешения посетить фронт, именно — Особую армию. Уезжая обратно, он послал мне письмо, в котором сообщал, что вся гвардия вне себя от негодования, что ее возглавляют лица неспособные к ее управлению в такое ответственное время, что они им не верят и страшно огорчаются, что несут напрасные потери без пользы для их боевой славы и для России. Это письмо мне было на руку, я препроводил его при моем письме Алексееву с просьбой доложить царю, что такое положение дела больше нетерпимо и что я настоятельным образом прошу назначить в это избранное войско, хотя бы только на время войны, наилучшее начальство, уже отличившееся на войне и выказавшее свои способности. В конце концов все вышеперечисленные лица были сменены, и командующим этой армией был назначен Гурко, человек безусловно соответствовавший этому назначению, но, к сожалению, было уже поздно, да и не все смененные лица были заменены столь удачно.

Председатель Государственной думы М. М. Родзянко

Приблизительно в это же время был сформирован отдельный корпус для действия в Добрудже против болгар в помощь Румынии, которая сосредоточивала все свои войска для наступления в Трансильванию, а в Добрудже оставляла только одну свою дивизию. К сожалению, Алексеев, по моему мнению, недостаточно оценил значение нашей помощи в Добрудже. Туда следовало направить не один корпус из двух второчередных дивизий весьма слабого состава, а послать целую армию с хорошими войсками. Тогда, вероятно, выступление Румынии, оказавшееся столь неудачным, приняло бы совершенно другой оборот. Плохое состояние румынской армии начальнику штаба Верховного главнокомандующего должно было быть хорошо известно — для того и военная агентура существует, — но оказалось, что мы ничего не знали, и для нас было полным сюрпризом, что румыны никакого понятия не имели о современной войне.

Потребовали, чтобы я выбрал и назвал корпусного командира в направленный в Добруджу отдельный корпус. Затруднение выбора состояло в том, что недостаточно было избрать хорошего боевого генерала, но требовалось, чтобы он также был человеком ловким и умел не только ужиться с корпусом и румынским начальством, но и оказывать на них возможно большее влияние. Мною избран был генерал Зайончковский, который, как мне казалось, отвечал всем вышеперечисленным требованиям. Такое назначение очень расстроило этого генерала, и он начал усиленно от него отговариваться, ссылаясь на то, что с таким составом и качеством русских войск, которые ему назначены, он не будет в состоянии высоко держать знамя русской армии, что ему нужно не менее трех-четырех дивизий пехоты высокого качества, иначе он рискует осрамиться и, по совести, такой ответственности взять на себя не может. Я ему ответил, что этот корпус мне не подчинен как отдельный, назначение, количество и выбор этих войск от меня не зависят; я предложил Зайончковскому ехать в Ставку и там самому объясниться с Алексеевым, которому он непосредственно и подчинялся; изменить же мой выбор я отказался. С этим он и уехал в Могилев.

Каковы были его объяснения с Алексеевым, не знаю, но откуда он уехал к своему новому месту служения, как он мне вслед за сим писал, очень раздосадованный и с составом войск не измененным. Алексеев его заверил, что значение его корпуса совершенно второстепенное и что он в Добрудже особого противодействия не встретит. Однако спустя немного времени после начала военных действий румынской армии вполне выяснилось, что румынское высшее военное начальство никакого понятия об управлении войсками в военное время не имеет; войска обучены плохо, знают лишь парадную сторону военного дела, об окапывании, столь капитально важном в позиционной войне, представления не имеют, артиллерия стрелять не умеет, тяжелой артиллерии почти совсем нет, и снарядов у них очень мало. При таком положении не удивительно, что они вскоре были разбиты, и той же участи подвергся и Зайончковский в Добрудже.

Между тем Алексеев заболел и уехал лечиться в Крым, а на его место был вызван царем для временного исполнения должности наштаверха командующий Особой армией генерал Гурко, который по дороге заехал ко мне. Он был очень озадачен своим новым назначением, хотя и временным, и говорил, что его очень затрудняет не военное дело, ему отлично известное, а придворная жизнь со всевозможными осложнениями того времени и необходимость для успеха войны касаться также внутренней политики и личных сношений с министрами, которые менялись тогда молниеносно. Что мог я ему на это ответить? Я ведь вполне разделял его мнение о трудности его положения вследствие нашей никуда не годной внутренней политики и мог только посоветовать ему, поскольку его сил хватит, бороться с влиянием Царского Села. Вместе с тем я убедительно просил его настоять на том, чтобы возможно более упорядочить довольствие войск, так как к этому времени подвоз продовольствия, обмундирования и снаряжения начал все более и более хромать; я же знал, что от армии можно потребовать всего, что угодно, и что она свой долг охотно выполнит, но при условии, что она сыта и хорошо по времени года одета. На этом мы временно и расстались.

Генерал Гурко

Вскоре после этого было получено приказание, ввиду необходимости спасения румынской армии, для оказания ей помощи одну из моих армий направить в Румынию, чтобы занять ее правый фланг, так как эта злосчастная румынская армия при отступлении совсем растаяла, а кроме того, вместо отдельного корпуса Зайончковского, который потерял почти всю Добруджу, стала формироваться новая армия, и обе эти армии включены были в Юго-Западный фронт.

Таким образом получалось, что на новом румынском фронте его правый и левый фланги подчинялись мне, центр же подчинялся королю румынскому, который со мной не только никаких отношений не имел, но, невзирая на все мои упорные просьбы, ни за что не хотел сообщать своих предложений и присылать свои директивы, без которых мне невозможно было распоряжаться правым и левым флангами этого фронта. На мой горячий протест по поводу такого ненормального и нетерпимого положения дела я получил ответ от Гурко, что приказано генералу Беляеву, который для этой цели был послан в главную квартиру румынской армии, ежедневно сообщать мне подробные сведения о румынах и их намерениях. Но оказалось, что и генерал Беляев ничего мне сообщать не мог и на мои постоянные требования отвечал, что румынский главный штаб тщательно скрывает от него свои распоряжения и решительно никаких сведений ему не дает.

В это же время последовала смена Зайончковского, который был назначен командиром 18-го армейского корпуса, а взамен его по моей рекомендации был назначен генерал Сахаров, которым я все время был доволен как по должности командира 11-го армейского корпуса в Карпатах, так и в качестве командующего армией. Исполнилось то, что предсказывал Зайончковский, а именно, что на Добруджский фронт нужно было сразу назначить не один слабый по составу армейский корпус, а сильную армию в пять-шесть корпусов. Сахарову с места пришлось, держась в Добрудже в оборонительном положении, направить часть своих сил на поддержку румынской армии на ее главный фронт после потери ею своей столицы Бухареста; я же в дальнейшем, не получая никаких сведений от румынской главной квартиры, послал решительную телеграмму Гурко для официального доклада Верховному главнокомандующему, в которой заявлял, что управлять флангами фронта, центр которого мне не подчинен, совершенно немыслимо и такой ответственности брать на себя я не могу, а потому настоятельно прошу о подчинении мне всего румынского фронта с его главной квартирой полностью или же о немедленном создании нового самостоятельного фронта — румынского, к которому бы я никакого отношения не имел.

После этой телеграммы и сношения с королем румынским, который считался главнокомандующим румынской армией, было решено устроить отдельный Румынский фронт с номинальным главнокомандующим, королем румынским, и назначить ему в помощники генерала Сахарова, которому должны были подчиняться непосредственно все русские войска, а через румынский штаб — и румынские войска. Таким способом я наконец был избавлен от невыносимого и бессмысленного положения, в которое меня поставила Ставка, то есть Алексеев.

В конце октября в сущности военные действия 1916 года закончились. Со дня наступления 20 мая по 1 ноября Юго-Западным фронтом было взято в плен свыше 450 000 офицеров и солдат, то есть столько, сколько в начале наступления, по всем имевшимся довольно точным у нас сведениям, находилось передо мной неприятельских войск. За это же время противник потерял свыше 1 500 000 убитыми и ранеными. Тем не менее к ноябрю перед моим фронтом стояло свыше миллиона австро-германцев и турок. Следовательно, помимо 450 000 человек, бывших вначале передо мной, против меня было перекинуто с других фронтов свыше 2 500 000 бойцов. Из этого ясно видно, что если бы другие фронты шевелились и не допускали возможности переброски войск против вверенных мне армий, я имел бы полную возможность далеко выдвинуться к западу и могущественно повлиять и стратегически и тактически на противника, стоявшего против нашего Западного фронта. При дружном воздействии на противника нашими тремя фронтами являлась полная возможность — даже при тех недостаточных технических средствах, которыми мы обладали по сравнению с австро-германцами, — отбросить все их армии далеко к западу. А всякому понятно, что войска, начавшие отступать, падают духом, расстраивается их дисциплина, и трудно сказать, где и как эти войска остановятся и в каком порядке будут находиться. Были все основания полагать, что решительный перелом в кампании на всем нашем фронте совершится в нашу пользу, что мы выйдем победителями, и была вероятность, что конец нашей войны значительно ускорится с меньшими жертвами.

Не новость, что на войне упущенный момент более не возвращается, и на горьком опыте мы эту старую истину должны были пережить и перестрадать. Отчего же это произошло? Оттого, что Верховного главнокомандующего у нас не было, а его начальник штаба, невзирая на весь свой ум и знания, не был волевым человеком, да и по существу дела и вековечному опыту начальник штаба заменять своего принципала не может. Война — не шутка и не игрушка, она требует от своих вождей глубоких знаний, которые являются результатом не

только изучения военных дела, но и наличия тех способностей, которые даруются природой и только развиваются работой. Преступны те люди, которые не отговорили самым решительным образом, хотя бы силой, императора Николая II возложить на себя те обязанности, которые он по своим знаниям, способностям, душевному складу и дряблости воли ни в коем случае нести не мог.

Если бы я гнался только за своей собственной славой, то я должен бы быть спокоен и доволен таким оборотом боевых действий 1916 года, ибо по всему миру пронеслась весть о «брусиловском наступлении». Вся Россия ликовала, имена Эверта и в особенности Куропаткина осуждались, а Эверта к тому же зачислили в разряд изменников. Я написал Эверту письмо, в котором сообщал ему, что получил несколько писем от разных мне неизвестных корреспондентов, в которых он обвиняется в предательстве русских интересов и в желании нанести ущерб русской армии; я не верил, конечно, всем этим обвинениям, но считал необходимым осведомить его о том, что его задержка в оказании мне помощи толкуется весьма превратно. На это письмо я ответа не получил. Что касается меня, то я, как воин, всю свою жизнь изучавший военную науку, мучился тем, что грандиозная победоносная операция, которая могла осуществиться при надлежащем образе действий нашего Верховного главнокомандования в 1916 году, была непростительно упущена.

Подводя итоги боевой работе Юго-Западного фронта в 1916 году, необходимо признать следующее:

1. По сравнению с надеждами, возлагавшимися на этот фронт весной 1916 года, его наступление превзошло все ожидания. Он выполнил данную ему задачу — спасти Италию от разгрома и выхода ее из войны, а кроме того, облегчил положение французов и англичан на их фронте, заставил Румынию стать на нашу сторону и расстроил все планы и предположения австро-германцев на этот год.

2. Никаких стратегических результатов эта операция не дала, да и дать не могла, ибо решение военного совета 1 апреля ни в какой мере выполнено не было. Западный фронт главного удара так и не нанес, а Северный фронт имел своим девизом знакомое нам с японской войны «терпение, терпение и терпение». Ставка, по моему убеждению, ни в какой мере не выполнила своего назначения управлять всей русской вооруженной силой и не только не управляла событиями, а события ею управляли, как ветер управляет колеблющимся тростником.

3. По тем средствам, которые имелись у Юго-Западного фронта, он сделал все, что мог, и большего выполнить был не в состоянии — я, по крайней мере, не мог. Если бы вместо меня был военный гений вроде Юлия Цезаря или Наполеона, то, может быть, он сумел бы выполнить что-либо грандиозное, но таких претензий у меня не было и быть не могло.

4. Меня некоторые специалисты упрекали, что я не устроил одного прорыва, к которому я мог бы сосредоточить большие резервы, а устроил несколько ударных групп, поэтому, при оказавшемся успехе, я якобы не мог развить победу в надлежащем размере. На это отвечаю, что при прорыве в одном только месте у меня получился бы результат такой же, как у Эверта близ Барановичей. Но лучше ли это — предоставляю судить читателю.

5. Во всяком случае, вот что пишет в своих воспоминаниях Людендорф:

«4 июня русские атаквали австро-венгерский фронт восточнее Луцка, у Тарнополя и непосредственно севернее Днестра.

Атака была начата русскими без значительного превосходства сил. В районе Тарнополя генерал граф фон Ботмер, вступивший после генерала фон Линзингена в командование южно-германской армией, начисто отбил русскую атаку, но в остальных двух районах русские одержали полный успех и глубоко прорвали австро-венгерский фронт. Но еще хуже было то, что австро-венгерские войска проявили при этом столь слабую боеспособность, что положение Восточного фронта сразу стало исключительно серьезным. Несмотря на то что мы сами рассчитывали перейти в наступление, мы немедленно подготовили несколько дивизий для отправки на юг. Фронт генерал-фельдмаршала принца Леопольда Баварского действовал в этих обстоятельствах таким же образом. Германское верховное командование сделало на этих обоих фронтах большие позаимствования, а также подвезло дивизии с запада. В то время сражение на Сомме еще не началось. Австро-Венгрия [249] постепенно прекратила наступление в Италии и также перебросила войска на Восточный фронт.

Вслед за тем итальянская армия перешла в наступление в Тироле. Обстановка коренным образом изменилась. С началом сражения на Сомме и с выступлением Румынии она вскоре еще раз должна была измениться не в нашу пользу...»

«В то время мы все еще считались с возможностью атаки у Сморгони, или, как это опять начало обрисовываться, на старом мартовском поле сражения у Риги. Как прежде, так и теперь русские располагали в данных пунктах очень крупными силами.

Несмотря на это, мы до крайности ослабили наш фронт, чтобы помочь южнее расположенным армиям. В резерве мы имели на всем растянутом фронте лишь отдельные батальоны. Я формировал батальоны из состава рекрутских депо, хотя мне было совершенно ясно, что если русские где-нибудь одержат настоящий успех, то это будет капля в море».

И далее:

«Русские решили добиваться решительной победы на австро-венгерском фронте, но они располагали большим количеством резервов и могли одновременно энергично атаковать и нас, чтобы по крайней мере воспрепятствовать дальнейшей переброске сил на юг».

Затем значится:

«Русская атака в излучине Стири, восточнее Луцка, имела полный успех. Австро-венгерские войска были прорваны в нескольких местах, германские части, которые шли на помощь, также оказались здесь в тяжелом положении, и 7 июля генерал фон Линзинген был принужден отвести свое левое крыло за Стоход. Туда же пришлось отвести с участка южнее Припяти правое крыло фронта генерал-фельдмаршала принца Леопольда Баварского, где была расположена часть армейской группы Гронау.

Это был один из наисильнейших кризисов на Восточном фронте. Надежды на то, что австро-венгерские войска удержат неукрепленную линию Стохода, было мало.

Мы рисковали ещё больше ослабить наши силы, на то же решился и генерал-фельдмаршал принц Леопольд Баварский. Несмотря на то что русские атаки могли в любой момент возобновиться, мы продолжали выискивать отдельные полки, чтобы поддержать левое крыло [250] фронта Линзингена северо-восточнее и восточнее Ковеля».

После взятия Брод (11-я армия) 27 июля Гинденбург и Людендорф были вызваны к верховному командованию, и им была вручена власть над всем Восточным фронтом.

Далее значится:

«Для укрепления австро-венгерского фронта требовались германские войска. Прежний фронт главнокомандующего Востоком был уже настолько обобран, что в ближайшее время многого от него получить было невозможно». И далее: «На весь фронт, чуть ли не в 1000 километров длины, мы имели в виде резерва одну кавалерийскую бригаду, усиленную артиллерией и пулеметами. Незавидное состояние, когда ежедневно надо быть готовым оказать помощь далеко расположенному участку! Это также свидетельствует, на что мы, немцы, оказались способными».

С этим последним выводом я согласиться без корректива не могу. Нужно добавить: при условии иметь противниками Алексева, Эверта и Куропаткина. Впрочем, эта оговорка имеет силу применительно ко всему периоду операции Юго-Западного фронта в 1916 году.

В заключение скажу, что при таком способе управления Россия, очевидно, выиграть войну не могла, что мы неопровержимо и доказали на деле, а между тем счастье было так близко и так возможно! Только подумать, что если бы в июле Западный и Северный фронты навалились всеми силами на немцев, то они были бы безусловно смяты, но только следовало навалиться по примеру и способу Юго-Западного фронта, а не на одном участке каждого фронта. В этом отношении, что бы ни говорили и ни писали, я остаюсь при своем мнении, доказанном на деле, а именно: при устройстве прорыва, где бы то ни было, нельзя ограничиваться участком в 20–25 верст, оставив остальные тысячу и более верст без всякого внимания, производя там лишь бестолковую шумиху, которая никого обмануть не может, Указание, что если разбросаться, то даже в случае успеха нечем будет развить полученный успех, конечно, справедливо, но только отчасти. Нужно помнить пословицу: «По одежке протягивай ножки». Для примера укажу на наш Западный фронт. К маю 1916 года он был достаточно хорошо снабжен, чтобы, имея сильные резервы в пункте главного прорыва, в каждой армии подготовить по второстепенному удару, и тогда, несомненно, у него не было бы неудачи у Барановичей. С другой стороны, Юго-Западный фронт был, несомненно, слабейший, и ожидать от него переворота всей войны не было никакого основания. Хорошо, что он выполнил неожиданно данную ему задачу с лихвой. переброска запоздалых подкреплений в условиях позиционной войны помочь делу не могла. Конечно, один Юго-Западный фронт не мог заменить собой всю многомиллионную русскую рать, собранную на всем русском Западном фронте. Ещё в древности один мудрец сказал, что «невозможное — невозможно»!

Примечания

1 «Только первый шаг труден» (фр.).